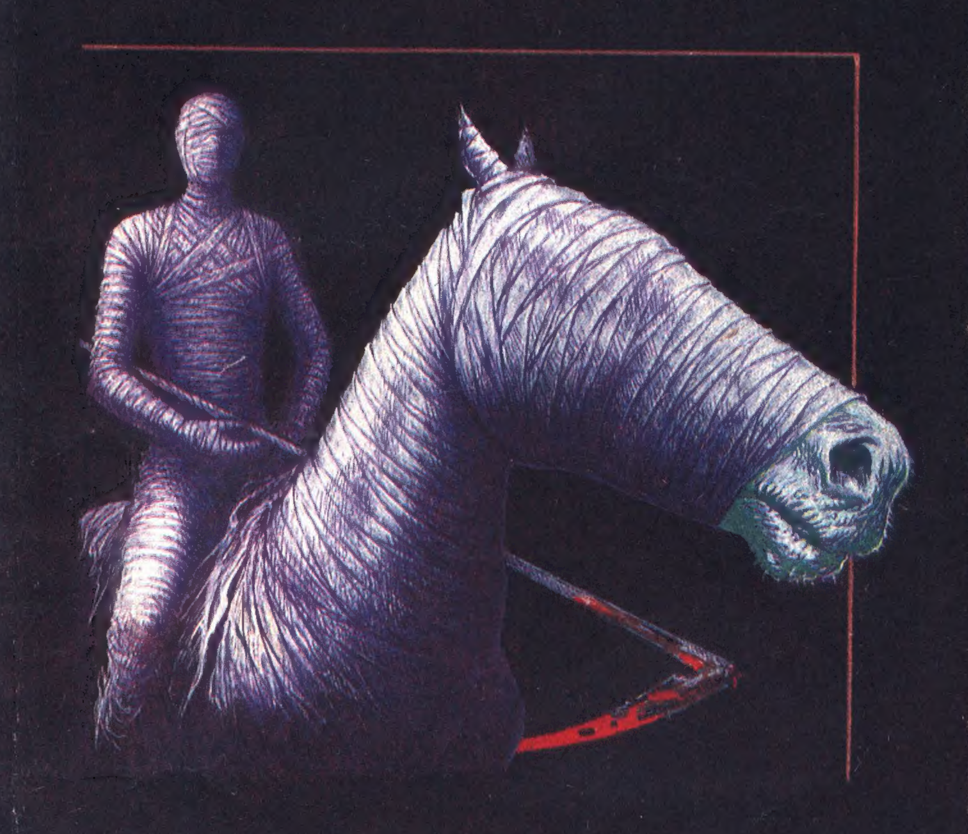
В. РОПШИН

КОНЬ БЛЕДНЫЙ



(Б. САВИНКОВ)

В. Ропшин
(Б. Савинков)

КОНЬ БЛЕДНЫЙ

Москва
Благотворительный фонд «НОРД»
1991

ББК 84Р1
Р73

Издание подготовлено НПО "Вектор СП"

Оформление художника С. Ситникова

Ропшин В.

Р73 Конь бледный: Роман / В. Ропшин (Б. Савинков). - М.: Фонд "НОРД", 1991. - 112с.

Роман знаменитого эсера-боевика Бориса Савинкова является литературной версией революционного террора 1903-1905 гг.

ББК 84Р1

Р 4702010101

ISBN

© Благотворительный фонд "НОРД"

"...И вот, конь бледный, и на
нем всадник, которому имя "смерть";
и ад следовал за ним..."

Откр. 6, 8.

"Кто ненавидит брата своего,
тот находится во тьме, и во тьме
ходит, и не знает, куда идет,
ибо тьма ослепила ему глаза".

Иоан. II, 11.

6 марта.

Вчера вечером я приехал в Москву. Она все та же. Горят кресты на церквах, визжат по снегу полозья. По утрам мороз, узоры на окнах, и у Страстного монастыря звонят к обедне. Я люблю Москву. Она мне родная.

У меня паспорт с красной печатью английского короля и с подписью лорда Ландсдоуна. В нем сказано, что я, Великобританский подданный Джордж О'Бриен, отправляюсь в путешествие по Турции и России. В русских участках ставят штемпель "турист".

В гостинице все знакомо до скуки: швейцар в синей поддевке, золоченые зеркала, ковры. В моем номере потертый

диван, пыльные занавески. Под столом три кило динамита. Я привез их с собою из-за границы. Динамит сильно пахнет аптекой, и у меня по ночам болит голова.

Я сегодня пойду по Москве. На бульварах темно, мелкий снег. Где-то поют куранты. Я один, ни души. Передо мною мирная жизнь, забыты люди. А в сердце святые слова:

"Я дам тебе звезду утреннюю".

8 марта.

У Эрны голубые глаза и тяжелые косы. Она робко жмется ко мне и говорит:

- Ведь ты меня любишь немножко?

Когда-то, давно, она отдалась мне, как королева, не требуя ничего и ни на что не надеясь. А теперь, как нищенка, просит любви. Я смотрю в окно на белую площадь.

Я говорю:

- Посмотри, какой нетронутый снег.

Она опускает голову и молчит.

Тогла я говорю:

- Я вчера был в Сокольниках. Там снег еще чище. Он розовый. И синие тени берез.

Я читаю в ее глазах:

- Ты был без меня.

- Послушай, - говорю я опять, - ты была когда-нибудь в русской деревне?

Она отвечает:

- Нет.

- Ну так ранней весной, когда на полях уже зеленеет трава и в лесу зацветает подснежник, по оврагам лежит еще снег. И странно: белый снег и белый цветок. Ты не видела? Нет? Ты не поняла? Нет?

И она шепчет:

- Нет.

А я думаю об Елене.

9 марта.

Генерал-Губернатор живет у себя во дворце. Кругом шпионы и часовые. Двойная ограда штыков и нескромных взглядов.

Нас немного: пять человек. Федор, Ваня и Генрих - извозчики. Они непрерывно следят за ним и сообщают мне свои наблюдения. Эрна - химик. Она приготовит снаряды.

У себя за столом я по плану черчу пути. Я пытаюсь воскресить его жизнь. В залах дворца мы вместе встречаем гостей. Вместе гуляем в саду, за решеткой. Вместе прячемся по ночам. Вместе молимся Богу.

Я его видел сегодня. Я ждал его на Тверской. Я долго бродил по замерзшему тротуару. Падал вечер, был сильный мороз. Я уже потерял надежду. Вдруг на углу пристав махнул перчаткой. Городовые вытянулись во фронт, сыщики заметались. Улица замерла.

Мимо мчалась карета. Черные кони. Кучер с рыжею бородою. Ручка дверец изгибом, желтые спицы колес. Следом сани - охрана.

В быстром беге я едва различил его. Он не увидел меня: я был для него улицей.

Счастливый, медленно я вернулся домой.

10 марта.

Когда я думаю о нем, у меня нет ни ненависти, ни злобы. У меня нет и жалости. Я равнодушен к нему. Но я хочу его смерти. Я знаю: его необходимо убить. Необходимо для террора и революции. Я верю, что сила ломит солому, не верю в слова. Если бы я мог, я бы убил всех начальников и

правителей. Я не хочу быть рабом. Я не хочу, чтобы были рабы.

Говорят, нельзя убивать. Говорят еще, что министра можно убить, а революционера нельзя. Говорят и наоборот.

Я не знаю, почему нельзя убивать. И я не пойму никогда, почему убить во имя свободы хорошо, а во имя самодержавия дурно.

Помню, я был в первый раз на охоте. Краснели поля гречихи, падала паутина, молчал лес. Я стоял на опушке, у изрытой дождем дороги. Иногда шептались березы, пролетали желтые листья. Я ждал. Вдруг непривычно колыхнулась трава. Маленьким серым комочком из кустов выбежал заяц и осторожно присел на задние лапки. Озирался кругом. Я, дрожа, поднял ружье. По лесу прокатилось эхо, синий дым растаял среди берез. На залитой кровью, побуревшей траве бился раненый заяц. Он кричал, как ребенок плачет. Мне стало жалко его. Я выстрелил еще раз. Он умолк.

Дома я сейчас же забыл о нем. Будто он никогда и не жил, будто не я отнял у него самое ценное - жизнь. И я спрашиваю себя: почему мне было больно, когда он кричал? Почему мне не было больно, что я для забавы убил его?

11 марта.

Федор - кузнец, бывший рабочий с Пресни. Он в синем халате, в извозчичьем картузе. Сосет с блюдечка чай.

Я говорю ему:

- Ты был в декабре на баррикадах?

- Я-то? Я в доме сидел.

- В каком доме?

- А в школе, в городской, то-есть.

- Зачем?

- В резерве я был. Две бомбы держал.

- Значит, ты не стрелял?

- Как нет? Стрелял.

- Так ты расскажи.

Он машет рукой.

- Да что... Артиллерия пришла. Стали в нас из пушек палить.

- А вы?

- Ну и мы... Из пушек мы, говорю, палили. Сами на заводе делали. Маленькие, вот с этот стол, а бьют хорошо. Человек пятнадцать мы из них положили... Ну тут скоро шум большой вышел. Потолок бомбой пробило, человек восемь наших взорвало.

- А ты что?

- Я? Что ж я? Я главнее в резерве был. В углу с бомбами находился. А потом приказ вышел.

- Какой приказ?

- От Комитета приказ уходить. Ну мы видим, дела хоть закуривай. Подождали малое время, ушли.

- Куда же вы ушли?

- В нижний этаж ушли. Там ловчее стрелять было.

Он говорит неохотно. Я жду.

- Да, - продолжает он, помолчав, - была тут одна... со мной солидарная... вроде будто жена.

- Ну?

- Ну ничего... Убили ее казаки.

За окном гаснет день.

13 марта.

Елена замужем. Она живет здесь, в Москве. Я ничего больше не знаю о ней. По утрам в свободные дни я брожу по бульвару, вокруг ее дома. Пушится иней, хрустит под ногами снег. Я слышу, как медленно бьют на башне часы. Уже 10 часов. Я сажусь на скамью, терпеливо считаю время. Я говорю себе: я не встретил ее вчера, я встречу ее сегодня.

Год назад я впервые увидел ее. Я весной был проездом в N и утром ушел в парк, большой и тенистый. Над мокрой землей вставали крепкие дубы, стройные тополя. Было тихо, как в церкви. Даже птицы не пели. Только журчал ручей. Я смотрел в его струи. В брызгах сверкало солнце. Я слушал голос воды. Я поднял глаза. На другом берегу в зеленой сетке ветвей стояла женщина. Она не замечала меня. Но я уже знал: она слышит то, что я слышу.

Это была Елена.

14 марта.

Я у себя в комнате. Наверху, надо мной, тихо звенит фортепьяно. Шаги тонут в мягком ковре.

Я привык к нелегальной жизни. Привык к одиночеству. Я не хочу знать будущего. Я стараюсь забыть о прошедшем. У меня нет родины, нет имени, нет семьи. Я говорю себе:

Un grand sommeil noir
Tombe sur ma vie,
Dormez, tout espoir,
Dormez, tout envie.

Но ведь надежда не умирает. Надежда на что? На "звезду утреннюю"? Я знаю: если мы убили вчера, то убьем и сегодня, неизбежно убьем и завтра. "Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь". Ну а кровь водой не зальешь и огнем не выжжешь. С нею в могилу.

Je ne voit plus rien,
Je perds la memoire
Du mal et du bien,
O, la triste histoire!

Счастлив, кто верит в воскресение Христа, в воскрешение Лазаря. Счастлив также, кто верит в социализм, в грядущий рай на земле. Но мне смешны эти старые сказки, и 15 десятин разделенной земли меня не прельщают. Я ска-

зал: я не хочу быть рабом. Неужели в этом моя свобода... И зачем мне она? Во имя чего я иду на убийство? Во имя террора, для революции? Во имя крови, для крови?...

Je sous un berceau,
Qu'une main balance
Au creux d'un caveau
Silence, silence...

17 марта.

Я не знаю, почему я иду в террор, но знаю, почему идут многие. Генрих убежден, что так нужно для победы социализма. У Федора убили жену. Эрна говорит, что ей стыдно жить. Ваня... Но пусть Ваня скажет сам за себя.

Накануне он возил меня целый день по Москве. Я назначил ему свидание у Сухаревки, в скверном трактире.

Он пришел в высоких сапогах и поддевке. У него теперь борода и волосы острижены в скобку. Он говорит:

- Послушай, думал ты когда-нибудь о Христе?

- О ком? - переспрашиваю я.

- О Христе? О Богочеловеке Христе?... Думал ли ты, как веровать и как жить? Знаешь, у себя во дворе я часто читаю Евангелие, и мне кажется, есть только два, всего два пути. Один - все позволено. Понимаешь ли, все. И тогда - Смердяков. Если, конечно, сметь, если на все решиться. Ведь если нет Бога и Христос - человек, то нет и любви, значит, нет ничего... И другой путь - путь Христов... Слушай, ведь если любишь, много, по-настоящему любишь, то и убить тогда можно. Ведь можно?

Я говорю:

- Убить всегда можно.

- Нет, не всегда. Нет, убить - тяжкий грех. Но вспомни, нет больше той любви, как если за други своя положить душу свою. Не жизнь, а душу. Пойми, нужно крестную муку принять, нужно из любви, для любви на все решиться. Но

непременно, непременно из любви и для любви. Иначе - опять Смердяков, то есть путь к Смердякову. Вот я живу. Для чего? Может быть, для смертного моего часа живу. Молюсь: Господи, дай мне смерть во имя любви. А об убийстве ведь не помолишься. Убьешь, а молиться не станешь... И ведь знаю: мало во мне любви, тяжел мой крест.

- Не смейся, - говорит он через минуту. - Зачем и над чем смеешься? Я Божьи слова говорю, а ты скажешь: бред. Ведь ты скажешь, ты скажешь: бред?

Я молчу.

- Помнишь, Иоанн в Откровении сказал: "В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них". Что же, скажи, страшнее, если смерть убежит от тебя, когда ты будешь звать и искать ее? А ты будешь искать, все мы будем искать. Как прольешь кровь? Как нарушишь закон? А проливаем и нарушаем. У тебя нет закона, кровь для тебя - вода. Но слушай же меня, слушай: будет день, вспомнишь эти слова. Будешь искать конца, не найдешь: смерть убежит от тебя. Верую во Христа, верую. Но я не с ним. Недостоин быть с ним, ибо в грязи и крови. Но Христос в милосердии своем будет со мною.

Я пристально смотрю на него. Я говорю:

- Так не убий. Уйди из террора.

Он бледнеет.

- Как можешь ты это сказать? Как смеешь? Вот я иду убивать, и душа моя скорбит смертельно. Но я не могу не убить, ибо люблю. Если крест тяжел, возьми его. Если грех велик, прими его. А Господь пожалеет тебя и простит.

- И простит, - повторяет он шепотом.

- Ваня, все это вздор. Не думай об этом.

Он молчит.

На улице я забываю его слова.

19 марта.

Эрна всхлипывает. Она говорит сквозь слезы:

- Ты меня совсем разлюбил.

Она сидит в моем кресле, закрыв руками лицо. Странно: я никогда раньше не замечал, что у нее такие большие руки.

Я внимательно смотрю на них и говорю:

- Эрна, не плачь.

Она поднимает глаза. Нос у нее покраснел, и нижняя губа некрасиво отвисла. Я отворачиваюсь к окну. Она встает и робко трогает меня за рукав.

- Не сердись. Я не буду.

Она часто плачет. Сначала краснеют глаза, затем опухают щеки, наконец, незаметно выкатывается слеза. У нее тихие слезы.

Я беру ее к себе на колени.

- Послушай, Эрна, разве я когда-нибудь говорил, что люблю тебя?

- Нет.

- Разве я тебя обманул? Разве я не сказал, что люблю другую?

Она вздрогнула и не отвечает.

- Говори же.

- Да. Ты сказал.

- Слушай же дальше. Когда мне станет с тобой тяжело, я не солгу тебе, я скажу. Ведь ты мне веришь?

- О да.

- А теперь не плачь. Я ни с кем. Я с тобою.

Я целую ее. Счастливая, она говорит:

- Милый мой, как я люблю тебя.

А я глаз не могу оторвать от ее больших рук.

21 марта.

Я не знаю ни слова по-английски. В гостинице, в ресто-

ране, на улице я говорю на ломаном русском языке. Выходят недоразумения.

Вчера я был в театре. Рядом со мной купец, толстый, красный, с потным лицом. Он сопит и угрюмо дремлет. В антракте поворачивается ко мне:

- Вы какой нации?

Я молчу.

- Я спрашиваю: какой вы нации?

Я, не глядя на него, отвечаю:

- Подданный Его Величества Великобританского короля.

Он переспрашивает:

- Кого?

Я поднимаю голову и говорю:

- Я англичанин.

- Англичанин? Так-с, так-с, так-с... Самой мерзкой нации. Так-с. Которые на японских миноносцах ходили, у Цусимы Андреевский флаг топили, Порт-Артур брали... А теперь, извольте, к нам, в Россию, пожаловали. Нет, не дозволяю я этого.

Собираются любопытные. Я говорю:

- Прошу вас молчать.

Он продолжает:

- В участок его. Может, он опять японский шпион или жулик какой... Англичанин... Знаем мы их, англичан этих... И чего полиция смотрит?

Я щупаю в кармане револьвер. Я говорю:

- Второй раз прошу вас молчать.

- Молчать? Нет, брат, пойдем в участок. Там разберут. Недозволено, чтобы, значит, шпионы. Нет. За царя! С нами Бог!

Я встаю. Я смотрю в упор в его круглые, налитые кровью глаза и говорю очень тихо:

- В последний раз: молчать.

Он пожимает плечами и молча садится.

Я выхожу из театра.

24 марта.

Генриху 22 года. Он бывший студент. Еще недавно он ораторствовал на сходках, носил пенсне и длинные волосы. Теперь, как Ваня, он огрубел, похудел и оброс небритой щетиной. Лошадь у него тощая, сбруя рваная, сани подержанные - настоящий московский Ванька.

Он везет нас: меня и Эрну. За заставой обернулся и говорит:

- Намедни попа одного возил. На Собачью Площадку рядился, пятиалтынный давал. Ну а где она Собачья Площадка? Везу. Крутил я крутил. Стал, наконец, поп ругаться: куда везешь, сукин сын? Я, говорит, тебя в полицию представлю. Извозчик, говорит, должен Москву как мешок с овсом знать, а ты, говорит, экзамен, небось, за целковый сдал. Насилу я его умолил: простите, говорю, батюшка, Христа-ради... А экзамена я действительно не держал. Карпуха-босяк за полтинник вместо меня явился.

Эрна почти не слушает. Генрих продолжает с воодушевлением:

- Вот тоже на днях барин один с барыней порядились. Старички. Будто из благородных. Выехал я на Долгоруковскую, а там трамвай электрический у остановки стоит. Ну я не глядя, Господи благослови, через рельсы. Ка-ак барин-то вскочит и давай меня по шее тузить! Ты, говорит, негодяй, что же? Задавить нас желаешь? Куда, говорит, прешь, сукин сын? А я и говорю: не извольте, говорю, ваше сиятельство, себя беспокоить, так что трамвай у остановки стоит, проедем. Тут слышу барыня по-французски заговорила: Жан, говорит, не волнуйся, во-первых, тебе это вредно, а кроме того и извозчик, говорит, человек. Ей Богу, вот так и сказала: извозчик, мол, человек. А он ей по-русски: сам знаю, что

человек, да ведь скотина какая... А она: фи, говорит, что ты, право, стыдись... Тут он, слышу, за плечо меня тронул: прости, говорит, голубчик, и на чай двугривенный подает... Не иначе, кадеты... Н-но, милая, выручай!..

Генрих стегает свою лошаденку. Эрна незаметно жмется ко мне.

- Ну а вы как, Эрна Яковлевна, привыкли?

Генрих говорит робко. Эрна нехотя отвечает:

- Ничего. Конечно, привыкла.

Направо - Петровский Парк, черный переплет обнаженных ветвей. Налево - белая скатерть поля. Сзади - Москва. Сияют на солнце церкви.

Генрих примолк. Тишина. Только сани скрипят.

На Тверской я сую ему в руки полтинник. Он снимает заиндевелый картуз и долго смотрит нам вслед.

Эрна мне шепчет:

- Можно сегодня прийти к тебе, милый?

28 марта.

Генераал-Губернатор ждет покушения. Вчера ночью он неожиданно переехал в Нескучное. За ним переехали и мы. Ваня, Федор и Генрих следят теперь в Замоскворечье: у Калужских ворот и на Большой Полянке. Я брожу по Пятницкой и Ордынке.

Мы уже много знаем о нем. Он высокого роста, с бледным лицом и подстриженными усами. Выезжает в Кремль два раза в неделю, от 3-х до 5-и. Остальные часы он дома. Иногда бывает в театре. У него три запряжки. Пара серых коней и две вороные пары. Кучер нестарый, лет сорока, с рыжей, веером бородой. Карета новая с белыми фонарями. Иногда в ней ездит его семья: жена и дети. Но тогда кучер другой. Старик с медалями на груди. Охрану мы знаем тоже: два сыщика, оба евреи. Ездят всегда на гнедом рысаке, в

открытых санях. Ошибиться нельзя, и я думаю, что мы скоро назначим день. Ваня бросит первую бомбу.

29 марта.

Из Петербурга приехал Андрей Петрович. Он член Комитета. За ним много лет каторги и Сибири, тяжкая жизнь затравленного революционера. У него грустные глаза и седая бородка клином.

Мы сидим в "Эрмитаже". Он застенчиво говорит:

- Вы знаете, Жорж, в Комитете поднят вопрос о временном прекращении террора. Что вы об этом думаете?

- Человек, - подзываю я полового, - поставь в машину из "Корневильских Колоколов".

Андрей Петрович опускает глаза.

- Вы не слушаете меня, а вопрос очень важный. Как совместить террор и парламентскую работу? Или мы ее признаем и идем на выборы в Думу, или нет конституции и тогда, конечно, террор. Ну, что вы думаете об этом?

- Что думаю? Ничего.

- Вы подумайте. Может быть, придется вас распустить, то есть организацию распустить.

- Что? - переспрашиваю я.

- То есть не распустить, а как бы это сказать? Вы знаете, Жорж, ведь мы понимаем. Мы знаем, как товарищам трудно. Мы ценим... И потом ведь это только предположение.

У него лимонного цвета лицо, морщинки возле глаз. Он, наверное, живет в нищей коморке где-нибудь на Выборгской стороне, сам варит себе на спиртовке чай, бегает зимою в осеннем пальто и занят по горло всякими планами и делами. Он делает революцию.

Я говорю:

- Вот что, Андрей Петрович, вы решайте там как хотите.

Это ваше право. Но как бы вы ни решили, Генерал-Губернатор будет убит.

- Что вы? Вы не подчинитесь Комитету?

- Нет.

- Послушайте, Жорж...

- Я сказал, Андрей Петрович.

- А партия? - напоминает он.

- А террор? - отвечаю я.

Он вздыхает. Потом протягивает мне руку.

- Я в Петербурге ничего не скажу. Авось как-нибудь обойдется. Вы не сердитесь.

- Я не сержусь. Прощайте, Андрей Петрович.

Вызвездило. К морозу. Жутко в пустых переулках... Андрей Петрович спешит на вокзал. Бедный старик. Бедный взрослый ребенок. Именно вот таких и есть Царство Небесное.

4 июля.

Прошло шесть недель, я снова в Москве. Это время я прожил в старой дворянской усадьбе. От белых ворот - лента дороги, зеленый большак с молодыми березками по краям. Справа и слева желтеют поля. Шепчет рожь, гнется овес махровой головкой. В полдень, в зной, я ложусь на мягкую землю. Ратью стоят колосья, алеет мак. Пахнет кашкой, душистым горошком. Лениво тают облака. Лениво в облаках парит ястреб. Плавно взмахнет крылом и замрет. С ним замрет и весь мир: зной и черная точка вверху.

Я слежу за ним прилежным взглядом. И мне приходит на память:

... Всю природу как туман
Дремота жаркая объемлет.
И сам теперь великий Пан
В пещере нимф спокойно дремлет.

А в Москве едкая пыль и смрад. По пыльным улицам

тащатся вереницы ломовиков. Тяжело грохочут колеса. Тяжело везут тяжелые кони. Стучат пролетки. Ноют шарманки. Ругань и крик.

Я жду ночи. Ночью город уснет, утихнет людская зыбь. И в ночи опять заблещет надежда:

"Я дам тебе звезду утреннюю".

6 июля.

Я больше не англичанин. Я купеческий сын Фрол Семенов Титов, лесной торговец с Урала. Я стою на Маросейке в дрянных номерах и по воскресеньям хожу к обедне в приходскую церковь Живоначальной Троицы. Самый опытный глаз не узнает во мне Джоржа О'Бриена. Самый опытный сыщик не заподозрит революционера.

В моей комнате на столе грязная скатерть, у стола хромоногий стул. На подоконнике куст увядшей герани, на стене портреты царей. Утром шипит нечищеный самовар, хлопают в коридоре двери. Я один в своей клетке.

Наша первая неудача родила во мне злобу. Генерал-Губернатор все еще жив. Я и раньше желал ему смерти, но теперь злоба владеет мною. Я живу нераздельно с ним. Ночью я не смыкаю глаз: шепчу его имя, утром - первая мысль о нем. Вот он седой старик с бледной улыбкой на бескровных губах. Он презирает нас. В его руках власть.

Я ненавижу его точеный дворец, резные гербы на воротах, его охрану, его карету, его коней. Я ненавижу его золотые очки, его стальные глаза, его впалые щеки, его осанку, его голос, его походку. Я ненавижу его желанья, его мысли, его молитвы, его праздную жизнь, его сытых и чистых детей. Я ненавижу его самого, его веру в себя, его ненависть к нам. Я ненавижу его.

Уже приехали Эрна и Генрих. Я жду Ваню и Федора. В

Москве тихо, о нас забыли. Пятнадцатого, в день своих именин, он поедет в театр. Мы убьем его на дороге.

10 июля.

Из Петербурга снова приехал Андрей Петрович. Я вижу его лимонного цвета лицо, седую бородку клином. Он в смущенье мешает ложечкой чай.

- Читали, Жорж, разогнали Думу?

- Читал.

- Да-а... Вот вам и конституция...

На нем черный галстук, старомодный грязный сюртук. Грошовая сигара в зубах.

- Жорж, как дела?

- Какие дела?

- Да вот... насчет Генерал-Губернатора.

- Дела идут по-хорошему.

- Что-то уж очень долго... Теперь бы вот... Самое время...

- Если долго, Андрей Петрович, поторопитесь.

Он сконфузился, барабанит пальцами по столу.

- Слушайте, Жорж.

- Ну?

- Комитет постановил усилить террор.

- Ну?

- Я говорю: решено ввиду разгона Думы усилить террор.

Я молчу. Мы сидим в грязном трактире "Прогресс". Хрипло гудит машина. В синем дыму белеют фартуки половых.

Андрей Петрович ласково говорит:

- Скажите, Жорж, вы довольны?

- Чем доволен, Андрей Петрович?

- Да вот... усилением.

- Чего?

- Боже мой... Я же вам говорю: усилением террора.

Он искренно рад сделать мне удовольствие. Я смеюсь:

- Усилением террора? Что же? Дай Бог.

- А вы что думаете об этом?

- Я? Ничего.

- Как ничего?

Я встаю.

- Я, Андрей Петрович, рад решению Комитета, но усиливать террор не берусь.

- Но почему же, Жорж? Почему?

- Попробуйте сами.

Он в изумлении разводит руками. У него сухие желтые руки и пальцы прокопчены табаком.

- Жорж, вы смеетесь?

- Нет, не смеюсь.

Я ухожу. Он, наверное, долго еще сидит за стаканом чая, решая вопрос: не смеялся ли я над ним и не обидел ли он меня. А я опять говорю себе: бедный старик, бедный взрослый ребенок.

11 июля.

Ваня и Федор уже в Москве. Я подробно условился с ними. План остается тот же. Через три дня, пятнадцатого июля, Генерал-Губернатор поедет в Большой театр. Чистый сбор от спектакля поступит в пользу комиссии о раненых воинах. Он не может не быть в театре.

В семь часов Эрна отдаст мне снаряды. Она приготовит их в гостинице, у себя. У ней в комнате готовые оболочки и динамит. Она высушит на горелке ртуть, запаяет стеклянные трубки, вставит запал. Она работает хорошо. Я не боюсь случайного взрыва.

В восемь часов я раздам снаряды. Ваня станет у Спасских ворот, Федор - у Троицких, Генрих - у Бо-

ровичьих. За нами теперь не следят. Я в этом уверен. Значит, нам дана власть: острый меч.

На моем столе букет чахлой сирени. Зеленые листья поникли, бледно-лиловые кудри увяли. Я ищу в увядших цветках пять листиков - счастье. И я рад, когда нахожу его, ибо дерзким удача.

14 июля.

Я помню: я был на севере, за полярным кругом, в норвежском рыбачьем поселке. Ни дерева, ни куста, ни даже травы. Голые скалы, серое небо, серый сумрачный океан. Рыбаки в кожаных куртках тянут мокрые сети. Пахнет рыбой и ворванью. Все кругом мне чужое. И небо, и скалы, и ворвань, и эти люди, и их странный язык. Я терял самого себя. Я сам себе был чужой.

И сегодня мне все чужое. Я в Тиволи, против открытой сцены. Лысый капельмейстер машет смычком, уныло свистят в оркестре флейты. На вычищенных подмостках акробаты в розово-бледных трико. Они, как кошки, взбираются по столбам, с размаху кидаются вниз, кружатся в воздухе, перелетают друг через друга и, яркие в ночной темноте, уверенно хватаются за трапеции. Я равнодушно смотрю на них, на их упругие и крепкие тела. Что я им и что они мне?.. А мимо скучно снует толпа, шуршат шаги по песку. Завитые приказчики и откормленные купцы лениво бродят по саду. Они, скучая, пьют водку, скучая, ругаются, скучая, смеются. Женщины жадно ищут глазами.

Темнеют вечерние небеса, набегают ночные тучи. Завтра наш день. Остро, как сталь, встает четкая мысль. Мысль об убийстве. Нет любви, нет мира, нет жизни. Есть только смерть. Смерть - венец и смерть - терновый венок.

16 июля.

Вчера с утра было душно. В Сокольниках хмуро молчали деревья. Предчувствовалась гроза. За белою тучей прогремел первый гром. Черная тень упала на землю.

Зароптали верхушки елей, заклубилась желтая пыль. Дождь прошумел по листьям. Робко, синим огнем сверкнула первая молния.

В семь часов я встретился с Эрной. Она одета мещанкой. На ней зеленая юбка и вязаный белый платок. Из-под платка непослушно выбились кудри. В руках большая корзина с бельем.

В этой корзине снаряды. Я бережно кладу их в портфель. Тяжелый портфель больно тянет мне руку.

Эрна вздыхает.

- Устала?

- Нет, ничего. Жоржик... Жоржик, можно мне с вами?

- Эрна, нельзя.

- Жорж, милый...

- Нельзя.

В ее глазах несмелая просьба. Я говорю:

- Иди к себе. В двенадцать часов приходи на это же место.

- Жорж...

- Эрна, пора.

Еще мокро, дрожат березы, но уже заревом горит вечернее солнце. Эрна одна на скамье. Она до ночи будет одна.

Ровно в восемь часов Ваня - у Спасских ворот, Федор - у Троицких, Генрих - у Боровичьих. Я брожу по Кремлю. Я жду, когда ко дворцу подадут карету.

Вот вспыхнули во тьме фонари. Стукнули стеклянные двери. По белой лестнице мелькнула серая тень. Черные кони шагом обходят крыльцо, медленно трогают рысью. На башне поют куранты... Генерал-Губернатор уже у Боровичьих ворот... Я стою у памятника Александру Второму.

Надо мною во мраке статуя царя. Окнами блестит Кремлевский дворец. Я жду.

Идут минуты. Идут дни. Идут долгие годы.

Я жду.

Тьма еще гуще, площадь еще чернее, башни выше, тишина глубже.

Я жду.

Снова поют куранты.

Я побрел к Боровичьим воротам. На Воздвиженке Генрих. Он в синей поддевке и в картузе. Неподвижно стоит на мосту. У него в руках бомба.

- Генрих.

- Жорж, это вы?

- Генрих, проехал... Генерал-Губернатор проехал. Мимо вас.

- Мимо меня?..

Он побледнел. Лихорадочно блестят расширенные зрачки.

- Мимо меня?..

- Где вы были? Да, где вы были?

- Где?.. Я был здесь... У ворот...

- И не видели?

- Нет...

Над нами тусклый рожок фонаря. Ровно мигает пламя.

- Жорж.

- Ну?

- Я не могу... уроню... Возьмите... бомбу... скорее...

Я почти вырываю у него снаряд. Так мы стоим под газовым фонарем и смотрим друг другу в глаза. Оба молчим. В третий раз бьют на башне часы.

- До завтра.

Он в отчаянии машет рукой.

- До завтра.

Я ушел к себе в номер. В коридоре шум, пьяные голоса.

Чахнет сирень. Я машинально рву увядшие листья. Я опять ищу цветочное счастье. А губы шепчут сами собою:

"Лучше мертвому льву, чем псу живому".

17 июля.

Генрих, взволнованный, говорит:

- Я сначала стоял у самых ворот... Минут десять стоял... Потом вижу: городовой заметил. Я пошел по Воздвиженке... Вернулся. Постоял. Генерал-Губернатора нет... Снова пошел... Вот тут он, наверное, и проехал...

Он закрывает руками лицо:

- Какой позор... Какой стыд...

Он не спал всю ночь напролет. Под глазами у него синяя тень и на щеках багровые пятна.

- Жорж, вы ведь верите мне?

- Верю.

Пауза. Я говорю:

- Слушайте, Генрих, зачем вы идете в террор? Я бы на вашем месте работал в мирной работе.

- Я не могу.

- Почему?

- Ах, почему?.. Нужен террор или нет? Ведь нужен... Вы знаете: нужен.

- Ну так что ж, что нужен?

- Так не могу же я не идти?.. Ведь нельзя же звать на террор, говорить о нем, желать его и самому не делать... Ведь нельзя же... Нельзя?

- Почему нельзя?

- Ах, почему?.. Ну, я не знаю, может быть, другие и могут... Я не могу...

Он опять закрыл лицо руками, опять шепчет, будто во сне:

- Боже мой, Боже мой...

Пауза.

- Жорж, скажите-же прямо, верите вы мне или нет?

- Я сказал: я вам верю.

- И дадите мне еще раз снаряд?

Я молчу.

Он медленно говорит:

- Нет, вы дадите...

Я молчу.

- Ну тогда... Тогда...

В его голосе страх. Я говорю:

- Успокойтесь, Генрих, вы получите ваш снаряд.

И он шепчет:

- Спасибо.

Дома я спрашиваю себя: зачем он в терроре? И чья в этом вина? Не моя ли?

18 июля.

Эрна жалуется. Она говорит:

- Когда-же это все кончится, Жорж?.. Когда?..

- Что кончится, Эрна?

- Я не могу жить убийством. Я не могу... Надо кончить. Да, поскорее кончить...

Мы сидим вчетвером в кабинете, в грязном трактире. Мутные зеркала изрезаны именами, у окна расстроенное пианино. За тонкой перегородкой кто-то играет "Матчиш".

Жарко, но Эрна кутается в платок. Федор пьет пиво. Ваня положил бледные руки на стол и на руки голову. Все молчат. Наконец, Федор сплевывает на пол и говорит:

- Поспешишь - людей насмешишь... Вишь, дьявол-Генрих: из-за него теперь остановка.

Ваня подымает глаза:

- Федор, не стыдно тебе? Зачем?.. Не виноват Генрих ни в чем. Мы все виноваты.

- Ну уж и все... А по мне, назвался груздем - полезай в кузов...

Пауза. Эрна шепотом говорит:

- Ах, Господи... Да не все ли равно, кто прав и кто виноват... Главное - кончить скорее... Я не могу. Не могу.

Ваня нежно целует ей руку.

- Эрна, милая, вам тяжело... А Генриху? А ему?..

За стеной не умолкает "Матчиш". Пьяный голос поет куплеты.

- Ах, Ваня, что Генрих? Я жить не могу...

И Эрна плачет навзрыд.

Федор нахмурился. Ваня умолк. А мне странно: к чему отчаяние и зачем утешение?

20 июля.

Я лежу с закрытыми глазами. В растворенное окно шумит улица, тяжело вздыхает каменный город. В полусне мне чудится: Эрна готовит снаряды.

Вот она заперла двери на ключ, глухо щелкнул замок. Она медленно подходит к столу, медленно зажигает огонь. На чугунной доске светло-серая пыль: гремучая ртуть. Тонкие синие язычки - змеиные жала - лижут железо. Сушится взрывчатый порошок. Треща, поблескивают крупинки. По стеклу ходит свинцовый грузик. Этот грузик разобьет свинцовую трубку. Тогда будет взрыв.

Один мой товарищ уже погиб при такой работе. В комнате нашли его труп, клочки его трупа: разбрызганный мозг, окровавленную грудь, разорванные ноги и руки. Навалили все это на телегу и повезли в участок. Эрна рискует тем же.

Ну а если ее в самом деле взорвет? Если вместо льняных волос и голубых удивленных глаз будет красное мясо?.. То-

гда Ваня приготовит снаряды. Он тоже химик. Он сумеет исполнить эту работу.

Я открываю глаза. Солнечный летний луч пробился сквозь занавеску, блестит на полу. Я забываюсь опять. И опять те же мысли. Почему Генрих не бросил бомбы? Да, почему?.. Генрих не трус. Но ошибка хуже, чем страх. Или это случайность? Его величество случай?

Все равно. Все - все равно. Пусть моя вина в том, что Генрих в терроре. Пусть его вина в том, что Генерал-Губернатор жив. Пусть Эрну взорвет. Пусть повесят Ваню и Федора. Генерал-Губернатор все-таки будет убит. Я так хочу. Я встаю. Внизу на площади, под окном, копошатся люди - черные муравьи. Каждый занят своей заботой, мелкой злобой дня. Я презираю их. И не прав ли в сущности Федор:

"Бомбой бы их всех, безусловно".

21 июля.

Я был сегодня случайно около дома Елены. Тяжелый и грязный, он угрюмо смотрит на площадь. Я по привычке ищу скамью на бульваре. По привычке считаю время. По привычке шепчу: я ее встречу сегодня.

Когда я думаю о ней, мне почему-то вспоминается странный южный цветок. Растение тропиков, палящего солнца и выжженных скал. Я вижу твердый лист кактуса, лапчатые зигзаги его стеблей. Посреди заостренных игл багрово-красный махровый цвет. Будто капля горячей крови брызнула и как пурпур застыла. Я видел этот цветок на юге, в странном и пышном саду, между пальм и апельсиновых рощ. Я гладил его листы, я рвал себе руки об иглы, я лицом прижимался к нему, я вдыхал пряный и острый, опьяняющий аромат. Сверкало море, сияло в зените солнце, свершалось тайное колдовство. Красный цветок околдовал меня и измучил.

Но я не хочу Елены теперь. Я не хочу думать о ней. Я не хочу помнить ее. Я весь в моей мести. И уже не спрашиваю себя: стоит ли мстить?

22 июля.

Генерал-Губернатор ездит два раза в неделю, от трех до пяти, к себе в канцелярию, в свой дом на Тверской. Он ездит разными путями и в разные дни. Мы проследим его выезд и через день или два займем все дороги. Ваня будет ждать его на Тверской, в Столешниковом переулке - Федор. Генрих в резерве: он станет в дальних улицах, сзади дворца. На этот раз нас едва ли ждет неудача.

Что бы я делал, если бы не был в терроре? Я не знаю. Не умею дать на это ответ. Но твердо знаю одно: не хочу мирной жизни.

Курильщики опия видят блаженные сны, светлые кущи рая. Я не курю опия и не вижу блаженных снов. Но что моя жизнь без террора? Что моя жизнь без борьбы, без радостного сознания, что мирские законы не для меня? И еще я могу сказать: "Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы". Время жатвы тех, кто не с нами.

25 июля.

Я говорю Федору:

- Ты, Федор, займешь Столешников переулок, от площади до Петровки. Генерал-Губернатор, должно быть, поедет на Ваню, но и ты будь готов. И помни: я уверен в тебе.

Он давно снял драгунскую форму и ходит теперь в фуражке министерства юстиции. Он гладко выбрит, и его черные усы закручены вверх.

- Ну, Жорж, будет им на орехи.

- Ты думаешь?

- Верно. Теперь не уйдет.

Мы в далеком конце Москвы, в Нескучном Саду. В густой зелени лип затаился белый дворец. Здесь недавно жил Генерал-Губернатор.

Федор задумчиво говорит:

- В каких хоромах мерзавцы живут. Сладко спят, сладко едят... Баре проклятые... Ну да ладно: гляди, служи панихиду.

- Федор...

- Чего?

- Если будут судить, не забудь взять защитника.

- Защитника?

- Да.

- То есть это адвоката какого?

- Ну да, адвоката.

- Адвоката не надо... Не люблю я их, адвокатов этих... Да и суда вовсе не будет... Ты думаешь, что? Не нужно мне этих судов... Последняя пуля в лоб, вот и готово дело.

И я по голосу знаю, да, действительно: последняя пуля в лоб.

27 июля.

Я иногда думаю о Ване, о его любви, о его исполненных верой словах. Я не верю в эти слова. Для меня они не хлеб насущный и даже не камень. Я не могу понять, как можно верить в любовь, любить Бога, жить по любви. И если бы не Ваня говорил эти слова, я бы смеялся. Но я не смеюсь. Ваня может сказать про себя:

> Духовной жаждою томим,
> В пустыне мрачной я влачился.
> И шестикрылый серафим
> На перепутье мне явился...

И еще:

И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

Ваня умрет. Его не будет. С ним погаснет и "угль, пылающий огнем". А я спрашиваю себя: в чем же разница между ним и, например, Федором? Оба убьют. Обоих повесят. Обоих забудут. Разница не в делах, а в словах.

И когда я думаю так, то смеюсь.

29 июля.

Эрна говорит мне:

- Ты меня не любишь совсем... Ты забыл меня... Я чужая тебе.

Я говорю неохотно:

- Да, ты мне чужая.

- Жорж...

- Что, Эрна?

- Не говори же так, Жорж.

Она не плачет. Она сегодня спокойна. Я говорю:

- О чем ты думаешь, Эрна? Разве время теперь? Смотри: неудача за неудачей.

Она шепотом повторяет:

- Да, неудача за неудачей.

- А ты хочешь любви? Во мне теперь нет любви.

- Ты любишь другую?

- Может быть.

- Нет, скажи.

- Я сказал давно: да, я люблю другую.

Она тянется всем телом ко мне.

- Все равно. Люби, кого хочешь. Я не могу жить без тебя. Я всегда тебя буду любить.

Я смотрю в ее голубые глаза.

- Эрна.

- Жорж, милый...

- Эрна, лучше уйди.

Она целует меня.

- Жорж, я ведь ничего не хочу, ничего не прошу. Только будь иногда со мною.

Над нами тихо падает ночь.

31 июля.

Я сказал: не хочу помнить Елену. И все-таки мои мысли с нею. Я не могу забыть ее глаз: в них полуденный свет. Я не могу забыть ее рук, ее длинных, прозрачно-розовых пальцев. В глазах и руках душа человека. Разве в прекрасном теле может жить уродство души?.. Но пусть она не радостная и гордая, а раба. Что из того? Я хочу ее, и нет ее лучше, нет радостнее, нет сильнее. В моей любви ее красота и сила.

Бывают летние туманно-мглистые вечера. От напоенной росой земли встает мутный, молочно-белый туман. В его теплых волнах тают кусты, тонут неясные очертания леса. Тускло мерцают звезды. Воздух густой и влажный и пахнет скошенным сеном. В такие ночи неслышно ходит над болотами Луговой. Он колдует.

Вот опять колдовство: что мне Елена, что мне ее беспечная жизнь, муж-офицер, ее будущее матери и жены? А между тем я скован с ней железною цепью. И нет силы порвать эту цепь. Да и нужно ли рвать?

3 августа.

Завтра опять наш день. Опять Эрна приготовит снаряды. Опять Федор, Ваня и Генрих займут назначенные места. Я не хочу думать о завтрашнем дне. Я бы сказал: я боюсь о нем думать. Но я жду и верю в него.

5 августа.

Вот что было вчера.

В 2 часа я взял у Эрны снаряды. Я простился с ней на Тверской и на бульваре встретил Генриха, Ваню и Федора. Федор занял Столешников переулок, Ваня - Тверскую, Генрих - дальние переулки.

Я зашел в кофейню Филиппова, спросил себе стакан чая и сел у окна. Было душно. По камням стучали колеса, крыши домов дышали жаром. Я ждал недолго, может быть, пять минут. Помню: внезапно в звонкий шум улицы ворвался тяжелый, неожиданно странный и полный звук. Будто кто-то грозно ударил чугунным молотом по чугунной плите. И сейчас же жалобно задребезжали разбитые стекла. Потом все умолкло. На улице люди шумной толпой бежали вниз, в Столешников переулок. Какой-то рваный мальчишка что-то громко кричал. Какая-то баба с корзинкой в руках грозила кулаком и ругалась. Из ворот выбегали дворники. Мчались казаки. Где-то кто-то сказал: Генерал-Губернатор убит.

Я с трудом пробился через толпу. В переулках густым роем толпились люди. Еще пахло густым дымом. На камнях валялись осколки стекол, чернели раздробленные колеса. Я понял, что разбита карета. Передо мной, загораживая дорогу, стоял высокий фабричный в синей рубахе. Он махал костлявыми руками и что-то быстро и горячо говорил. Я хотел оттолкнуть его, увидеть близко карету, но вдруг где-то справа, в другом переулке отрывисто-сухо затрещали револьверные выстрелы. Я кинулся на их зов. Я знал: это стреляет Федор. Толпа сжала меня, сдавила в мягких объятиях. Выстрелы затрещали снова, уже дальше, отрывистее и глуше. И опять все умолкло. Фабричный повернул ко мне свое лицо и сказал:

- Ишь ты, палит...

Я схватил его за руку и с силою оттолкнул. Но толпа еще теснее сомкнулась передо мной. Я видел чьи-то за-

тылки, чьи-то бороды, чьи-то широкие спины. И вдруг услышал слова:

- Генерал-Губернатор-то жив...

- А поймали?

- Не слыхать, чтоб поймали...

- Поймают... Как не поймать?

- Да-а... Много их ноне... этих...

Поздно вечером я вернулся домой. Я помнил одно: Генерал-Губернатор жив.

6 августа.

Сегодня в газетах напечатано:

"Вчера было совершено злодейское покушение на жизнь Генерал-Губернатора. В три часа Генерал-Губернатор выехал из Кремлевского дворца в свою канцелярию, что на Тверской площади. Адъютант Его Высокопревосходительства полковник кн. Яшвиль, обыкновенно составлявший расписание маршрута, сообщил и на этот раз Градоначальнику предполагаемый путь: через Спасские ворота по Красной Площади и дальше по Петровке и Столешникову переулку к Генерал-Губернаторскому дому. Когда лошади поворачивали с Петровки, на мостовую сошел человек в форме чиновника министерства юстиции. В одной руке у него была коробка, перевязанная ленточкой, как обыкновенно перевязывают конфеты. Приблизившись к карете, он взял коробку в обе руки и бросил ее под колеса. Раздался оглушительный взрыв. К счастью, Генерал-Губернатор остался жив. Поднявшись без посторонней помощи с земли, он направился в подъезд дома купца Соломонова, где и оставался до прибытия вызванного по телефону конвоя. Адъютанта, кн. Яшвиля, выбросило на левую сторону. У него было повреждено лицо, раздроблены обе ноги и повреждены обе руки. Он тут же скончался. Генерал-Губернаторский ку-

чер, крестьянин Андреев, получил тяжкие ранения головы. Он скончался по доставлении его в больницу. Преступник, совершив свое злодейское дело, бросился бежать. За ним погнались постовой городовой Иван Федоренко и агент Охранного отделения Игнатий Ткач. Преступник на бегу двумя последовательными выстрелами убил своих преследователей. Свернув на Петровку, он пытался скрыться по направлению к Страстному бульвару. Стоявший на посту городовой Иван Климов сделал попытку его задержать, но был тяжело ранен пулей в область живота. На Петровке преступник вскочил в извозчичью пролетку и, угрожая извозчику револьвером, заставил везти себя до Петровских линий, где бросился бегом вниз по линиям. Здесь он снова был остановлен приставом первого участка подполковником Орбелиани и дворниками домов NN 16, 18 и 20 по Петровке. Убив двумя выстрелами двоих из упомянутых дворников, преступник скрылся во дворе N 3 по Петровским линиям. Дом был немедленно оцеплен отрядами пешей и конной полиции и вызванной по телефону ротой 23 Гренадерского полка. При обыске домовых помещений преступник был обнаружен в дальнем углу двора, за сложенными дровами. На предложение сдаться он ответил выстрелами, коими был убит наповал подполковник Орбелиани. Тогда по приказанию прибывшего на место происшествия Градоначальника гренадерами был открыт по преступнику беглый огонь. Преступник, скрываясь за дровами, некоторое время отвечал выстрелами из револьвера, причем были легко ранены рядовые Веленчук и Семенов и убит унтер-офицер Иван Едынак. По прекращению обстрела, проникшими за дрова гренадерами был обнаружен труп преступника с четырьмя огнестрельными ранами, из коих две были безусловно смертельны. Преступник - молодой человек лет 26, брюнет, высокого роста и крепкого телосложения. При нем не найдено никаких документов, в карманах же брюк обнаружено два револьвера системы Браунинг и коробка с патронами к ним.

К установлению его личности приняты меры. Следствие ведет следователь по особо важным делам".

7 августа.

Я лежу ничком в горячих подушках. Светает. Чуть брезжит утренняя заря.

Вот опять неудача. Хуже чем неудача, несчастье. Мы наголову разбиты. Федор сделал, конечно, что мог. Разве он пропустил карету? Разве не бросил бомбу? Разве не было взрыва?

Мне не жаль Федора, даже не жаль, что я не успел защитить его. Ну я бы убил пять дворников и городовых. Разве в этом мое желание?.. Но мне жаль: я не знал, что Генерал-Губернатор в двух шагах от меня, в подъезде. Я бы дождался его. Я бы его убил.

Мы не уедем. Мы не сдадимся. Если нельзя убить на дороге, мы пойдем во дворец. Мы взорвем дворец, и себя, и его, и всех, кто с ним. Он спокоен теперь, он торжествует победу. Нет забот. Нет страха. Прочно царство его, тверда власть... Но ведь будет наш день - будет суд. И тогда совершится.

8 августа.

Генрих мне говорит:

- Жорж, все погибло.

Кровь заливает мне щеки.

- Молчать!

Он в испуге отступает на шаг.

- Жорж, что с вами?

- Молчать! Что за вздор. Ничто не погибло. Как вам не стыдно.

- А Федор?

- Что Федор? Федор убит...

- Ах, Жорж... Ведь это... Ведь это...

- Ну... Дальше.

- Нет... Вы подумайте... Нет... Но мне казалось... Что же теперь?

- Как что теперь?

- Нас полиция ищет.

Сеет дождь. Плачет хмурое небо. Генрих промок, и с его поношенной шапки струится вода. Он похудел, глаза у него ввалились.

- Жорж.

- Что?

- Поверьте... Я... я хочу только сказать... Вот нас двое: Ваня и я... Мало двоих.

- Нас трое.

- Кто же третий?

- Я. Вы забыли меня.

- Вы возьмете снаряд?

- Конечно.

Пауза.

- Жорж, на улице трудно.

- Что трудно?

- На улице трудно убить.

- Мы пойдем во дворец.

- Во дворец?

- Ну да. Что же вас удивляет?

- Вы надеетесь, Жорж?

- Я уверен... Стыдно вам, Генрих.

Он растерянно жмет мою руку.

- Жорж, простите меня...

- Конечно... Но помните: если Федор убит, значит, черед за вами. Поняли? Да?

И он, взволнованный, шепчет:

- Да...

А мне на этот раз жаль, что Федора нет со мною.

9 августа.

Я забыл зажечь свечи. В моей комнате серая полутьма. В углу зыбкий силуэт Эрны.

После взрыва я отдал ей бомбы и с тех пор не видел ее. Она тайком прокралась сегодня ко мне и молчит. Даже не курит.

- Жорж...

- Что, Эрна?

- Это... это я виновата...

- В чем виновата?

- Что он не убит.

Голос у нее глухой, и в нем сегодня нет слез.

- Ты виновата?

- Да, я.

- Чем?

- Я делала бомбу.

- Ах, пустяки... Не мучь себя, Эрна.

- Нет, это я, это я, это я...

Я беру ее руку.

- Эрна, твоей вины нет. Я тебе говорю.

- Нет?.. А Федор?

- Что Федор?

- Он бы, может быть, жил...

- Эрна, ведь это скучно...

Она встает, делает два шага. Потом тяжело садится опять. Я говорю:

- Вот Генрих сказал: нужно оставить дело.

- Кто сказал?

- Генрих.

- Как оставить? Зачем?

- Спроси его, Эрна.

- Жорж, разве правда, оставить?

- Ты так думаешь? Да?

- Нет, скажи ты.

- Ну, конечно же, нет. Мы, конечно, убьем. И ты опять приготовишь снаряды.

Она с тревогой говорит:

- А кто третий?

- Я, Эрна.

- Ты?

- Ну да, я.

Она поникла, прижалась к окну. Смотрит в темную площадь. Потом вдруг быстро встает, подходит ко мне. Жарко целует в губы.

- Жорж, милый... Мы ведь вместе умрем?.. Жорж?

Снова неслышно падает ночь.

11 августа.

Перед нами всего два пути. Первый путь: переждать несколько дней и опять подстеречь на дороге. Второй путь: идти во дворец. Я знаю: нас ищут. Нам трудно прожить неделю в Москве, еще труднее занять те же места. Ну вместо Федора - я, Ваня опять на Тверской, Генрих опять в резерве. Полиция теперь начеку. Улицы усеяны сыщиками. Они караулят нас. Они, заподозрив бомбу, окружат, незаметно схватят. Да и пойдет ли Генерал-Губернатор той же дорогой? Ведь ему легко сделать круг по Москве: выехать на Тверскую сверху, со стороны Страстного Монастыря... Ну а если мы пойдем во дворец? Нужно оковать себя динамитом, надеть невидимый панцирь, нужно прорваться в подъезд, наконец, нужно умело взорвать. Мне, конечно, не жалко тех, кто умрет: погибнет семья, свита,сыщики и конвой. Но опасно рискнуть. Дворец велик, и в нем много комнат. Если случайно во время взрыва он будет во внутренних залах или в саду? Ведь мы не в силах дойти до него... Халтуринский взрыв был рассчитан верно и все-таки кончился неудачей. Я колеблюсь. Я взвешиваю все "за" и "против". И я не знаю:

пойдем ли мы во дворец? Трудно решить и нужно. Трудно знать и еще труднее узнать.

13 августа.

Ваня - барин: мягкая шляпа, светлый галстук, серый пиджак. У него по-прежнему вьются кудри, блестят задумчивые глаза. Он говорит:

- Жалко Федора, Жоржик.

- Да, жалко.

Он улыбается грустно.

- Да ведь тебе не Федора жалко.

- Как не Федора, Ваня?

- Ты ведь думаешь: товарища потерял. Ведь так? Скажи, так?

- Конечно.

- Ты думаешь: вот жил на свете революционер, настоящий революционер, бесстрашный... А теперь его нет. И еще думаешь: трудно, как быть без него?

- Конечно.

- Вот видишь... А про Федора ты забыл. Не жаль тебе Федора.

На бульваре играет военный оркестр. Воскресенье. В красных рубахах, с гармониками в руках бродят мастеровые. Говор и смех.

Ваня говорит:

- Слушай, я вот все о Федоре думал. Для меня ведь он не только товарищ, не только революционер... Ты подумай, что он чувствовал там, за дровами? Стрелял и знал, каждою каплей крови знал: смерть. Сколько времени он в глаза ее видел? Жоржик, не то. Ну, конечно, не испугался... А знаешь ли ты его муку? Знаешь ли муку, когда он, раненый, бился? Когда темнело в глазах и жизнь догорала? Ты не думал о нем?

И я отвечаю:

- Нет, Ваня, не думал.

Он шепчет:

- Значит, ты и его не любил...

Тогда я говорю:

- Федор умер... Ты вот что лучше скажи: идти ли нам во дворец?

- Идти во дворец?

- Да.

- Это как?

- Ну взорвать весь дворец.

- А люди?

- Какие люди?

- Да семья его, дети.

- Вот ты о чем... Пустяки, им туда и дорога...

Ваня примолк.

- Жорж.

- Что?

- Я не согласен.

- Что не согласен?

- Идти во дворец.

- Что за вздор?.. Почему?

- Я не согласен убивать детей.

И потом говорит, волнуясь:

- Нет, Жорж, послушай меня: не делай этого, нет. Как можешь ты это взять на себя? Кто дал тебе право? Кто позволил тебе?

Я холодно говорю:

- Я сам позволил себе.

- Ты?

Он всем телом дрожит.

- Жорж, дети...

- Пусть дети.

- Жорж, а Христос?

- Причем тут Христос?

- Жорж, помнишь: "Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете".

- К чему, Ваня, тексты?

Он качает головой:

- Да ни к чему...

Мы оба долго молчим. Наконец, я говорю:

- Ну ладно... Будем на улице ждать.

Он весь светлеет улыбкой. Тогда я спрашиваю его:

- Ты, может быть, думаешь, я ради текстов?

- Нет, что ты, Жорж?

- Я решил: так риска меньше.

- Конечно меньше, конечно... И вот увидишь: будет удача. Услышит Господь моления наши.

Я ухожу. Мне досадно: а все-таки не лучше ли во дворец?

15 августа.

Мои мысли опять с Еленой. Я спрашиваю себя: кто она? Почему она не ищет меня? Почему живет, ничего обо мне не зная? Значит, она не любит. Значит, она забыла. Значит, она, целуя, лгала. Но такие глаза не лгут.

Я не знаю. Я ничего не хочу узнать. Я видел радость ее любви, слышал счастливые слова. Я хочу ее, и я приду и возьму. Может быть, это даже и не любовь. Может быть, завтра потухнут ее глаза, и мне скучен будет ее любимый сегодня смех. Я сегодня люблю ее, и мне нет дела до завтра. Вот сейчас она стоит передо мной как живая: черные косы, строгий овал лица, на щеках робкий румянец. Я зову ее, я говорю себе ее имя. А ведь скоро наш уже непременно последний день...

Увижу я ее когда-нибудь или нет?

17 августа.

Завтра мы опять ждем Генерал-Губернатора на дороге. Если бы я мог, я бы молился.

18 августа.

Эрна в третий раз приготовила у себя снаряды. Ровно в три часа мы на своих местах. У меня в руках бомба. Когда я хожу, в коробке мерно стучит запал. Коробку я завернул в бумагу, перевязал тонким шнурком. Я как будто иду из лавки с покупкой.

Я иду вниз по левой стороне Столешникова переулка. В теплом воздухе осень. Я утром заметил: кое-где на березах уже желтые листья. По небу ползут тяжелые облака. Каплет редкими каплями дождь.

Я осторожно несу свою бомбу. Если случайно меня толкнут, разобьется запал. По тротуарам и на углах много шпионов. Делаю вид, что не вижу их.

Поворачиваю назад. Кругом все тихо. Сыщики лениво провожают глазами прохожих. Я боюсь, что именно теперь меня догонит Генерал-Губернатор. Теперь трудно бросить снаряд: я не узнаю его кареты, не сумею приготовить удар. Я ощупываю револьверы. У меня их, как было у Федора, два. Один - браунинг, другой - большой, кавалерийского образца ноган. Я их вычистил вчера вечером и тщательно зарядил.

Так я брожу полчаса. Когда я подхожу в третий раз к углу Тверской площади, к деревянной будке с часами, я вижу: на Тверской возле дома Варгина от земли взвился узкий столб серо-желтого, по краям почти черного дыма. Он воронкой ширится вверх, затопляет всю улицу. В ту же минуту - знакомый, странный, чугунный гул. Лошадь извозчика на углу вздымается на дыбы. Передо мной дама в большой черной шляпе. Она ахнула и присела на тротуар.

Городовой стоит секунду с бледным лицом и кидается на Тверскую.

Я бегу к дому Варгина. Звенят разбитые стекла. Опять пахнет дымом. Я забываю про бомбу, и запал стучит в ней мерно и торопливо. Я слышу стоны и крик и уже знаю, знаю наверное:

Генерал-Губернатор убит...

А через час продают телеграммы. У них траурный ободок и крест. Под крестом - печатный портрет, под портретом - некролог.

Я держу газетный листок, и у меня темнеет в глазах.

20 августа.

Ване удалось из тюрьмы передать письмо:

"Вопреки моему желанию, я, бросив бомбу, не был убит. Я бросал на расстоянии трех шагов, с размаху, прямо в окно кареты. Я видел лицо Генерал-Губернатора. Заметив меня, он откинулся вглубь и поднял руки, как для защиты. Я видел, как разбилась карета. В меня пахнуло дымом и щепками. Я упал на землю. Поднявшись, я осмотрелся. Шагах в пяти от меня лежали лоскутья платья и тут же рядом окровавленное тело. Я не был ранен, хотя с лица лилась кровь и рукава моего пиджака обгорели. Я пошел. В это время сзади чьи-то руки крепко схватили меня. Я не сопротивлялся. Меня отвезли в участок.

Я исполнил свой долг, долг революционера. Я жду суда над собой и спокойно встречу свой приговор. Я думаю, что, если бы я и бежал, я бы все равно не мог жить после того, что сделал.

Я обнимаю вас, милые друзья и товарищи. От всего сердца благодарен вам за вашу любовь и дружбу. Я верю в грядущую революцию с горделивым сознанием ее победного торжества.

Прощаясь, я бы хотел напомнить вам простые слова: "Любовь познали мы в том, что Он положил на нас душу свою: и мы должны полагать души свои за братьев".

В этом письме была приписка лично ко мне. Ваня писал:

"Может быть, тебе странно, что я говорил о любви и решился убить, т.е. совершил тягчайший грех против людей и Бога.

Я не мог не убить. Будь во мне чистая и невинная вера учеников, я бы, конечно, не был в терроре. Я верю: не мечом, а любовью спасется мир, как любовью он и устроится. Но я не знал в себе силы жить во имя любви, и я понял, что могу и должен во имя ее умереть.

У меня нет раскаяния, нет и радости от совершенного мною. Кровь мучит меня, и я знаю: смерть не есть искупление. Но я знаю также: "Аз есмь Истина и Путь и Живот".

Люди будут судить меня, и я жалею, что им придется пролить мою кровь. Кроме их суда будет - я верю - суд Божий. Мой грех безмерно велик, но и милосердие Христа не имеет границ.

Я целую тебя. Будь счастлив, счастлив истиною и делом. И помни: "Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь".

Я перечитываю эти листки папиросной бумаги, я спрашиваю себя: может быть, Ваня прав? Нет, сегодня сияет горячее солнце, трепещет в Сокольниках опадающая листва... Я брожу по знакомым дорожкам, и во мне горит большая и яркая радость. Я рву цветы осени, я вдыхаю их отлетающий аромат, я целую их бледные лепестки. Светлым праздником, торжественным воскресеньем звучат пророческие слова: "От престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось".

Я счастлив: да, совершилось.

22 августа.

Я все еще прячусь в Москве, все еще не могу уехать. Вся полиция начеку: нас настойчиво ищут. Я оставил мои номера и в третий раз переменил маску. Я уже не Фрол Семенов и не англичанин О'Бриен. Я живу невидимкой: без имени и без дома. Днем я брожу по Москве, к ночи ищу ночлега. Я ночую случайно: сегодня - в гостинице, завтра - на улице, послезавтра - у незнакомых, чужих мне людей - у купцов, чиновников и попов. Иногда я злорадно смеюсь: на лицах хозяев страх, робкое уважение ко мне.

Падает осень. Золотом горит старый парк, лист шуршит под ногами. На заре лужи сверкают на солнце тонким стеклом ломкого льда.

Я люблю печальную осень. Я сажусь в Сокольниках на скамью, слушаю лес. Тихий покой обнимает меня. Есть святая для всех земля и над ней святое небо.

Место, где Ваня убил, обнесено железной решеткой. За решеткой кресты и киот. Люди торопятся мимо, редко станет прохожий, перекрестится баба. Офицер небрежной рукой отдаст честь.

Об убийстве уже забыли. Помнит только полиция, помним, конечно, мы. Ваню судят. Поговорят, помолчат, вынесут приговор, повесят.

Так замрет жизнь.

23 августа.

Я вызвал сегодня Елену письмом. Она вошла, и мне сразу стало радостно и спокойно. Будто не было долгих дней тревоги и ожидания, будто не я жил местью, холодно готовил убийство. Так радостно и спокойно бывает в летние вечера, когда звезды зажглись и в саду аромат цветов, теплый и пряный.

На Елене белое платье. Она дышит свежестью и здо-

ровьем. Ей двадцать лет. Ее глаза не смеются, она, стыдливая, говорит:

- Вы были все время в Москве?

- Да, конечно, я был в Москве.

- Так вы?..

- Что я?

- Так это... вы?..

И она опускает глаза.

Мне хочется ее крепко обнять, поднять на руки, целовать как ребенка. Теперь, когда я вижу ее, ее сияющие глаза, я знаю: я люблю ее детский смех, наивную красоту ее жизни. И я с восторгом слушаю ее голос:

- Боже мой, если бы вы знали, как я боялась. Когда это случилось, я уже знала, что это... вы... что это вы... победили...

И потом шепчет еще:

- Как страшно...

И тогда я думаю так: вот я жил мыслью о ней, а она не думала обо мне, не мучилась мною. Она думала о терроре, о том, что я убиваю... И я говорю громко:

- Да, это сделали мы.

Она краснеет. И вдруг, как тогда, мягко и нежно опускает мне руки на плечи. Ее дыхание жжет мне лицо. И с неизведанной мукой встречаются наши губы.

- Жорж, милый, любимый Жорж, не будьте печальны.

И она, стыдливо и жарко, тянется телом ко мне.

Я целую ее. Целую ее волосы и глаза, ее бледные пальцы, ее любимые губы. Я не думаю уже ни о чем. Я знаю только: вот она у меня на руках и трепещет ее молодое тело.

Догорает в окне прощальный закат. Красный луч бродит по потолку. Она, белая, лежит у меня на руках, и уже нет похмелья пролитой крови.

И ничего нет.

24 августа.

Эрна едет сегодня. Она похудела и как-то сразу увяла. Погас на щеках румянец, и лишь по-прежнему беспомощно вьются кудри, словно просят пощады. Я надолго прощаюсь с нею.

Она стоит передо мной, хрупкая и печальная. Ее опущенные ресницы дрожат. Она говорит тихо:

- Ну вот, Жоржик, конец.

- Ты рада?

- А ты?

Я хочу ей сказать, что я счастлив и горд, но в душе у меня сегодня нет ликованья. Я угрюмо молчу.

Она вздыхает. Под кружевом платья ее грудь ходит порывисто и глубоко. Она, видимо, хочет мне что-то сказать, волнуется и не смеет. Я говорю:

- Когда поезд отходит?

Она вздрагивает.

- В девять часов.

Я равнодушно смотрю на часы.

- Эрна, ты опоздаешь.

- Жорж...

Она все еще не решилась. Я знаю: она заговорит о любви, будет просить участия. Но во мне нет любви, и я ничем не могу ей помочь.

- Жорж, неужели?

- Что неужели?

- Неужели мы расстаемся?

- Ах, Эрна, не навсегда.

- Нет, навсегда.

Ее голос чуть слышен. Я отвечаю ей громко:

- Ты, Эрна, устала. Отдохни и забудь.

И до меня долетает шепот:

- Я не забуду.

В ту же минуту я ее вижу: ее глаза покраснели и легко,

как вода, покатились частые слезы. Она некрасиво трясет головою. Ее локоны мокнут в слезах, жалко свисают к шее. Она рыдает и шепчет невнятно, глотая слова:

- Жорж, милый, не уходи от меня... Солнышко мое, не уйди...

В памяти встала Елена. Я слышу ее звонкий, радостный смех, вижу сияющие глаза. И я холодно говорю Эрне:

- Не плачь.

Она сразу умолкла. Вытерла слезы, уныло смотрит в окно. Потом встает и, шатаясь, подходит ко мне.

- Прощай, Жорж. Прощай.

Я повторяю как эхо:

- Прощай.

Вот она стоит у моих открытых дверей и ждет. И все еще шепчет с тоскою:

- Жорж, ты ведь приедешь... Жорж?..

28 августа.

Эрна уехала. Кроме меня в Москве еще Генрих. Он поедет за Эрной. Я знаю: он любит ее и, конечно, верит в любовь. Мне смешно и досадно.

Я помню: я сидел в тюрьме и ждал казни. Тюрьма сырая и грязная. В коридоре пахло махоркой, солдатскими щами. За окном шагал часовой. Иногда через стену долетали обрывки жизни, случайные слова разговора. И было странно: там за окном море, солнце, жизнь, а здесь одиночество и неизбежная смерть... Днем я лежал на железной койке, читал прошлогоднюю "Ниву". Вечером тускло мерцали лампы. Я украдкой влезал на стол, цеплялся руками за прутья решетки. Видно было черное небо, южные звезды. Сияла Венера. Я говорил себе: еще много дней впереди, еще встанет утро, будет день, будет ночь. Я увижу солнце, я увижу людей. Но как-то не верилось в смерть. Смерть казалась не-

нужной и потому невозможной. Даже радости не было, спокойной гордости, что умираю за революцию. Было какое-то странное равнодушие. Не хотелось жить, но и умирать не хотелось. Не тревожил вопрос, как прожита жизнь, не рождалось сомнения, что там, за темной гранью. А вот помню: режет ли веревка шею, больно ли задыхаться. И часто вечером, после поверки, когда на дворе затихал барабан, я пристально смотрел на желтый огонь моей лампы - единственный предмет на покрытом крошками тюремном столе. Я спрашивал себя: нет ли страха в душе? И я отвечал себе: нет. Потому что мне было все - все равно... А потом я бежал. Первые дни в сердце было все то же мертвое равнодушие. Машинально я делал так, чтобы меня не поймали. Но зачем я это делал, зачем я бежал - не знаю. Там, в тюрьме, иногда казалось, что мир прекрасен, и хотелось воздуха и горячего солнца. А здесь, на воле, меня снова томила скука. Но вот однажды под вечер я остался один. Восток уже потемнел, загорались ранние звезды. Фиолетовой дымкой заткались горы. Снизу, с реки, повеяла ночь. Сильно пахнет трава. Громко трещат цикады. Воздух тягучий и сладкий, как сливки. И вот в эту минуту я понял вдруг, что я жив, что нет смерти, что жизнь опять впереди и что я молод, здоров и силен...

И теперь я чувствую то же. Да, я молод, здоров и силен. Я еще раз ушел от смерти. И в сотый раз я спрашиваю себя: в чем же моя вина, если я целовал Эрну? И не большая ли вина, если бы я отвернулся, если бы я ее оттолкнул? Вот пришла женщина и принесла с собой любовь и милую ласку. Почему эта ласка рождает горе? Почему любовь дает не радость, а муку? Я не знаю, я не могу и не пытаюсь узнать. И мне кажется иногда: Ваня знает. Но его уже нет.

1 сентября.

Снова приехал Андрей Петрович. Он с трудом разыскал меня и теперь долго и весело жмет мне руку. Его старческое лицо сияет. Он доволен. Морщинки у глаз расползлись у него в улыбку.

- Поздравляю вас, Жорж.

- С чем это, Андрей Петрович?

Он лукаво щурит глаза, качает лысой головою:

- С победой и одолением.

Мне скучно с ним, и я бы охотно ушел. Мне скучны его слова, его докучные поздравления. Но он невинно улыбается мне:

- Да-а, Жорж, правду сказать, мы уже и надежду теряли. Неудачи да неудачи, чувствовали, что у вас неудачи. И знаете, - он наклоняется к моему уху, - упразднить даже вас хотели.

- Упразднить?.. То есть как?

- Дело прошлое... Я скажу: знаете, не верилось нам. Сколько времени, а дел никаких... Ну и стали мы думать: не лучше ли упразднить? Все одно ничего не выйдет... Вот старые дураки... А?

Я с изумлением смотрю на него. Он все тот же: седой и дряхлый. Пальцы его как всегда прокопчены табаком.

- И вы... вы думаете, можно нас упразднить?

- Ну, вот, Жорж, вы уже рассердились.

- Я не сержусь... Но скажите, вы думаете, можно нас упразднить?

Он любовно хлопает меня по плечу.

- Эх, вы... Пошутить с вами нельзя...

И потом говорит деловито:

- Ну а теперь кого? А?

- Пока никого.

- Никого?.. Комитет решил министра юстиции.

- То Комитет, а то я...

3 Зак. 126

- Ах, Жорж...

Я смеюсь.

- Ну что вы, Андрей Петрович? Я говорю: дайте срок.

Он долго думает про себя, по-стариковски жует губами.

- Жорж, вы остаетесь в Москве?

- Да, в Москве.

- Уезжайте-ка лучше.

- У меня дело есть.

- Дело?

Он опечален: что за такие дела? Но спросить меня не смеет.

- Ну ладно, Жорж, приедете, потолкуем...

И снова весело жмет мне руку.

- А ловко. Здорово... Молодцы...

Андрей Петрович - судья: он хвалит и он же клеймит. Я молчу: он ведь искренно верит, что я рад похвале. Жалкий старик.

3 сентября.

Ваню сегодня судят. Я лежу в случайной квартире, на диване, в жарких подушках. Ночь. В раме окна ночное небо. На небе звездное ожерелье. Большая Медведица.

Я знаю: Ваня лежал целый день на тюремной койке, иногда вставал, подходил к столу и писал. А теперь ему так же, как и мне, светит Медведица. И так же, как я, он не спит.

Я знаю еще: завтра казнь. Завтра войдет палач в красной рубахе с веревкою и нагайкою. Он свяжет Ване руки назад, и веревка вопьется в тело. Зазвенят под сводами шпоры, часовые уныло звякнут ружьем. Распахнутся ворота... На песчаной косе курится теплый туман, ноги вязнут в мокром песке. Розовеет восток. На бледно-розовом небе черный загнутый шпиль. Это - виселица. Это - закон.

Ваня всходит на плаху. В утренней мгле он весь серый, глаза и волосы одного цвета. Холодно, и он ежится, глубже уходит шеей в поднятый воротник. А потом палач надевает саван, стягивает веревку. Саван белый и рядом красный палач. Неожиданно громко стучит отброшенный табурет. Тело висит. Висит Ваня.

Подушки жгут мне лицо. Одеяло сползает на пол. Неудобно лежать. Я вижу Ваню, его восторженные глаза, русые кудри. И робко спрашиваю себя: зачем виселица? зачем кровь? зачем смерть?

И тотчас я вспоминаю:

"Мы должны полагать души свои за братьев".

Так сказал Ваня. Но ведь Вани уже нет...

5 сентября.

Я говорю себе: Вани нет. Это простые слова, но мне не верится в них. Мне не верится, что он уже умер. Вот стукнет дверь, он тихо войдет, и я как прежде услышу: "Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь".

Ваня верил в Христа, я не верю. В чем же разница между нами? Я лгу, шпионю и убиваю. Ваня лгал, шпионил и убивал. Мы все живем обманом и кровью. Во имя любви?

Христос взошел на Голгофу. Он не убил, он даровал людям жизнь. Он не лгал, он учил людей истине. Он не предательствовал, он сам был предан учеником. Так одно же из двух: или путь ко Христу, или... Или Ваня сказал: Смердяков... И тогда и я Смердяков.

Я знаю: Ваня свят в своей смерти, его последняя правда в муках. Эта святость и эта правда мне недоступны, они непонятны. Я умру, как и он, но темною смертью, ибо в горьких водах - полынь.

6 сентября.

Елена мне говорит:

- Знаете, я так боялась за вас... Я не смела думать о вас... Вы такой... странный.

Мы как прежде в Сокольниках. Осень дышит в лесу, гонит по ветру багровые листья. Холодно. Пахнет землей.

- Милый, как хорошо...

Я беру ее руки, я целую тонкие пальцы, и уста мои шепчут:

- Милая, милая, милая...

Она смеется.

- Не будь таким грустным. Будь весел.

Но я говорю:

- Слушай, Елена. Я люблю тебя, я зову: иди за мною.

- Зачем?

- Я люблю тебя.

Она гибко прижалась ко мне и шепчет:

- Ты знаешь, я тоже люблю.

- А муж?

- Что же муж?

- Ты с ним.

- Ах, милый... Не все ли равно, сейчас я с тобою.

- Будь со мною всегда.

Она звонко смеется:

- Не знаю, не знаю.

- Елена, не смейся и не шути.

- Я не шучу...

Она опять обнимает меня.

- Разве нужно любить всегда? Разве можно любить всегда? Ты бы хотел, чтобы я любила тебя одного... Я не могу. Я уйду.

- Уйдешь к мужу?

Она молча кивает.

- Значит, ты любишь его.

- Милый, вот горит вечернее солнце, шумит ветер, шепчет трава. Вот мы любим друг друга. Что же еще? Зачем думать о том, что было? Зачем знать, что будет? Не мучь же меня. Не надо мучений. Будем радоваться вдвоем, будем жить. Я не хочу горя и слез...

Я говорю:

- Ты сказала, что ты его и моя. Скажи, так ли? Правда ли это?

- Да, правда.

Тень скользнула у ней по лицу. Глаза печальны и темны. Белое платье тает в сумерках дня.

- Почему?

- Ах, почему?..

Я наклоняюсь к ней близко.

- А если... Если бы не было мужа?

- Не знаю... Я ничего, ничего не знаю... Разве любовь вечна? Не спрашивай, милый... И не думай, не думай, не думай...

Она целует меня, я молчу. В моей душе медленно расцветает ревность: я не хочу и не буду делиться ни с кем.

10 сентября.

Елена тайком приходит ко мне, и быстро, как воды, текут часы и недели. Весь мир теперь для меня в одном - в моей к ней любви. Свернут свиток воспоминаний, помутилось зеркало жизни. Передо мною глаза Елены, ее губы, ее любимые руки, вся ее молодость и любовь. Я слышу ее смех, ее радостный голос. Я играю ее волосами, я жадно целую ее горячее и счастливое тело. Падает ночь. Ночью глаза еще ярче, смех еще звонче, поцелуи больнее. И вот снова как чары: южный странный цветок, кровавый кактус, колдующий и влюбленный. Что мне террор, революция, виселица и смерть, если она со мной?.. Она входит робко,

опуская глаза. Но вот вспыхнули огнем ее щеки, звенит ее смех. У меня на коленях она поет беззаботно и звонко. О чем ее песни? Я не знаю, не слышу. Я чувствую ее всю, и радость ее звучит в моем сердце, и во мне уже нет печали. А она целует и шепчет:

- Все равно... Пусть ты завтра уйдешь... Но сегодня ты мой... Я люблю тебя, милый.

Я не пойму ее. Я знаю, женщины любят тех, кто их любит, любят любовь. Но сегодня муж, завтра я, послезавтра опять его поцелуи... Я ей однажды сказал:

- Как можешь ты целовать двоих?

Она подняла тонкие брови.

- Почему, милый, нет?

И я не знал, что ответить. Я злобно сказал:

- Я не хочу, чтобы ты целовала его.

Она рассмеялась:

- А он не хóчет, чтобы я целовала тебя.

- Елена...

- Что, милый?

- Не говори со мной так.

- Ах, милый мой, милый... Что за дело тебе, кого и когда я целую? Разве я знаю, кого ты еще целовал? Разве я хочу и могу это знать? Я сегодня люблю тебя... Ты не рад? Ты не счастлив?

Я хочу ей сказать: у тебя нет стыда, нет любви... Но я молчу: разве в моей душе живет стыд?

- Слушай, - смеется она, - зачем ты так говоришь? То можно, это нельзя. Умей жить, умей радоваться, умей взять от жизни любовь. Не нужно злобы, не нужно убийства. Мир велик, и всем хватит радости и любви. В счастье нету греха. В поцелуях нету обмана... Так не думай же ни о чем и целуй...

И потом говорит еще:

- Вот ты, милый, не знаешь счастья... Вся твоя жизнь - только кровь. Ты железный, солнце не для тебя... Зачем,

зачем думать о смерти? Надо радостно жить... Неправда ли, милый?

И я в ответ ей молчу.

12 сентября.

Я опять думаю об Елене. Быть может, она не любит меня, не любит и мужа. Быть может, она любит только любовь. Только в любви ее яркая жизнь, для любви она родилась на свет и во имя ее сойдет в могилу. И когда я думаю так, во мне встает отрадная злоба. Что из того, что Елена со мною, что я целую ее прекрасное тело и вижу любящие, в сиянье глаза?.. Она с улыбкой уходит к мужу, она любовно живет его жизнью. Меня томит мысль о нем, об этом юноше, белокуром и стройном. И иногда в тишине я ловлю себя на мечтах, глубоких и тайных. И тогда мне кажется, что я думаю не о нем, а о том, кого уже нет и о ком я со злобою думал прежде. Мне кажется, что Генерал-Губернатор все еще жив.

Вот я иду тернистым путем. На узкой моей тропинке стоит он, ее муж. Он мешает мне: она любит его.

Я смотрю, как в садах изнемогает усталая осень. Рдеют холодные астры, облетают сухие листья. Утренники свивают траву. В эти дни увядания четко встает привычная мысль. Я вспоминаю забытое слово:

> Если вошь в твоей рубашке
> Крикнет тебе, что ты блоха,
> Выйди на улицу
> И - убей!

13 сентября.

Генрих все эти дни прожил в Москве. У него в Замоскворечье семья. Только сегодня он уезжает в Петербург к Эрне.

Он отдохнул, пополнел и окреп. Глаза у него блестят, и уже нет вялых слов. Я давно не видел его.

Мы сидим с ним в трактире. Здесь когда-то бывал с нами Ваня. Генрих ест и в промежутках между едой говорит:

- Читали, Жорж, что в "Революционных Известиях" пишут?

- О чем?

- Да о Генерал-Губернаторе.

- Нет, не читал.

Он возмущен и говорит горячо:

- Пишут о значении не только для Москвы, но и для всей России. Я согласен: этот акт - перелом. Теперь увидят, как мы сильны, поймут, что партия победит, не может не победить.

Он вынимает тонкий листок печатной бумаги.

- Вот, Жорж, прочтите.

Мне скучно слушать его, скучно читать. Я отстраняю бумагу рукой. Я говорю с неохотой:

- Спрячьте. Не стоит.

- Что вы? Как же не стоит? Ведь для этого вся работа.

- То есть чья же работа?

- Наша работа, конечно.

- Для газетной статьи?

- Вы смеетесь... Печатное слово необходимо. Нужна пропаганда террора. Пусть массы поймут, пусть идея борьбы проникнет в деревню. Разве не так?

Мне скучно. Я говорю:

- Бросим об этом. Слушайте, Генрих, вы ведь любите Эрну?..

Он роняет ложку в тарелку и густо краснеет. Потом дрогнувшим голосом говорит:

- Откуда вы знаете?

- Знаю.

Он в смущенье умолк.

- Ну так берегите ее... И желаю вам счастья. Он встает, долго ходит по грязному кабинету. Наконец, говорит тихо:

- Жорж; я вам верю. Скажите мне правду.

- Что вам сказать?

- А вы не любите Эрну?

Мне смешно его хмурое, в красных пятнах лицо. Я громко смеюсь:

- Я? Люблю Эрну? Что вы? Бог с вами.

- И никогда... никогда не любили?

Я говорю раздельно и ясно:

- Нет. Не любил.

Его лицо расцветает счастливой улыбкой. Он приветливо жмет мне руку.

- Ну еду. Прощайте.

Он быстро уходит. Я долго сижу один за грязным столом, между грязными тарелками. И вдруг безудержно смешно: я люблю, она любит, он любит... Что за скучная песня.

14 сентября.

Я сегодня не видел Елены. Я ушел вечером в Тиволи. Как всегда бесстыдно гремел оркестр, пели цыгане. Как всегда бродили женщины между столов, и их платья шуршали шелком. И я как всегда скучал.

За соседним столом пьяный морской офицер. Блестит в стаканах вино, вспыхивают бриллианты у дам. До меня долетает смех и бессвязный говор. Медленно ходит стрелка часов.

Вдруг я слышу:

- Что вы скучаете здесь?

Офицер, шатаясь, протягивает мне стакан. У него багровые щеки и подстриженные усы. Такие усы носил Генерал-Губернатор.

- Как вам не стыдно скучать... Позвольте представиться: Берг... Пойдемте к нам, за наш стол... Дамы вас просят...

Я встаю, называю себя:

- Инженер Малиновский.

Мне все равно, где сидеть, я лениво сажусь за их стол. Все смеются, все чокаются со мной. Плачут скрипки, а за окном сереет рассвет.

Вдруг я слышу, кто-то спросил:

- Где Иванов?

- Какой Иванов?

- Да полковник Иванов. Куда девался Иванов?

Я вспоминаю: Начальник Охранного Отделения Иванов. Уж не его ли зовут? Я наклоняюсь к плечу соседа:

- Извините, не жандармский ли полковник Иванов?

- Ну да... конечно... Он самый... Друг и пр-риятель...

Меня жжет желанный соблазн. Я не встану. Я не уйду. Я знаю: этот Иванов, конечно, носит с собою мой портрет. Я щупаю револьвер и жду.

Входит Иванов. Он похож на купца, рыжебородый и толстый. Грузно садится за стол и пьет водку. Нас, конечно, знакомят.

- Малиновский.

- Иванов.

Он пришел сюда пить, и мне опять уже скучно. Вот опять желанный соблазн - подойти к нему и шепнуть:

- Джордж О'Бриен, полковник.

Но я молча встаю. На дворе плачет дождь, спит каменный город. Я один. Мне холодно и темно.

15 сентября.

Я спрашиваю себя: зачем я в Москве? Чего я могу добиться? Елена - только любовница. Она никогда не будет женой. Я знаю это и все-таки не могу уехать. Я знаю также,

что лишний день - лишний риск и что на карте стоит моя жизнь. Но я так хочу.

В Версале в парке с веранды видны озера. Между нежными боскетами и кокетливыми клумбами их берега чертят четкие линии. Влажным дымом клубят фонтаны, молчат зеркальные воды. И над ними сонный покой.

Я закрываю глаза: я в Версале. Я бы хотел забыть об Елене, я бы хотел сегодня покоя. Течет река жизни. День встает и уходит. А я, как раб на цепи, с моей любовью.

Где-то вдали ледяная высь. Горы блещут лазурью, девственным снегом. Люди мирно живут у их ног, мирно любят и с миром же умирают. Им светит солнце, их греет любовь. Но чтобы жить как они, нужны не гнев и не меч... И я вспоминаю Ваню. Может быть, он и прав, но белые ризы не для меня: Христос не со мной.

16 сентября.

- Милый мой, отчего ты всегда печальный, - говорит мне Елена, - разве я не люблю тебя? Вот смотри, я подарю тебе жемчуг.

Она снимает с пальца кольцо. В золотом кольце, как слеза, большая жемчужена.

- Береги ее... Это моя любовь.

Она доверчиво обнимает меня.

- Ты горюешь, что я тебе не жена? О, я знаю: брак - привычка любви, вялая, без блеска любовь. А тебя я хочу любить... Я хочу красоты и счастья...

И задумчиво говорит еще:

- Почему люди пишут разные буквы, из букв слагают слова, из слов законы? Этих законов библиотеки. Нельзя жить, нельзя любить, нельзя думать. На каждый день есть запрет... Как это смешно и глупо... Почему я должна любить одного? Скажи, почему?

И я опять ничего не умею ответить.

- Вот видишь, Жорж, ты молчишь. Ты тоже не знаешь. Разве ты никого не любил?..

Мне жутко. Да, я любил не одну, и я никогда не знал, зачем пишут законы. Она говорит мои же слова. Но теперь я в них чувствую ложь. И я хочу ей об этом сказать, но не смею.

У ней тяжелые черные косы. Они упали на плечи. В темной рамке кудрей лицо ее бледнее и тоньше. И глаза ее ждут ответа.

Я молча целую ее. Я целую ее невинные руки, ее сильное молодое тело. Поцелуи мучат меня. Вот опять завороженная мысль, мысль о том, кто, как я, целует ее и кого она любит. И я говорю:

- Нет, слушай, Елена... Или он или я...

Она смеется:

- Вот видишь: я раба, а ты господин... А если я не хочу выбирать?.. Скажи, зачем выбирать?

За окном шумит дождь. В полутьме я вижу ее силуэт, ее большие, черные ночью глаза. И я говорю, бледнея:

- Я хочу так, Елена.

Она грустно молчит.

- Выбирай.

- Милый, я не могу...

- Я сказал: выбирай.

Она быстро встает. Говорит решительно и спокойно:

- Я люблю тебя, Жорж. Ты это знаешь. Но я не буду твоей женой никогда.

Она ушла. Я один. Только жемчуг ее со мною.

17 сентября.

Елена любит свое прекрасное тело, свою молодую жизнь. Говорят, в этой любви свобода. Мне смешно: пусть

Елена - раба, а я господин, пусть я раб, а она свободна... Я твердо знаю одно: я не могу делиться любовью. Я не могу целовать, если целует другой.

Ваня искал Христа, Елена ищет свободы. Мне все равно: пусть Христос, пусть Антихрист, пусть Дионис. Я не ищу ничего. Я люблю. И в моей любви мое право.

Вот опять багровый цветок опьяняет меня. Опять свершается тайное колдовство. Я как камень в пустыне. Но в руке моей - острый серп.

30 марта

Я опять брожу около дома Елены. Это громадный, старый, тяжелый дом купца Купоросова. Как могут жить люди в этой коробке? Как может жить в ней Елена?

Я знаю: глупо мерзнуть на улице, кружить вокруг закрытых дверей, ждать того, чего никогда не будет. Ну если я даже встречу ее? Что изменится? Ничего.

А вот вчера на Кузнецком у Дациаро я встретил мужа Елены. Я издали заметил его. Он стоял у окна спиной ко мне и разглядывал фотографии. Я подошел и стал рядом с ним. Он высокого роста, белокурый и стройный. Ему лет 25. Офицер.

Он обернулся и сразу узнал меня. В его потемневших глазах я прочел злобу и ревность. Я не знаю, что он прочел в моих.

Я не ревную его. Я не имею злобы к нему. Но он мне мешает. Он стоит на моей дороге. И еще: когда я думаю о нем, я вспоминаю слова:

Если вошь в твоей рубашке
Крикнет тебе, что ты блоха,
Выйди на улицу
И убей!

2 апреля.

Сегодня тает, бегут ручьи. Лужи сверкают на солнце. Снег размок, и в Сокольниках пахнет весной, крепкой сыростью леса. Вечерами еще мороз, а в полдень скользко и каплет с крыш.

Прошлой весной я был на юге. Ночи - ни зги. Только горит созвездие Ориона. Утром по каменистому берегу я ухожу к морю. В лесу цветет вереск, расцветают белые лилии. Я карабкаюсь на утес. Надо мной раскаленное солнце, внизу прозрачная зелень воды. Ящерицы скользят, трещат цикады. Я лежу на жарких камнях, слушаю волны. И вдруг - нет меня, нет моря, нет солнца, нет веса, нет весенних цветов. Есть одно громадное тело, одна бесконечная и благословенная жизнь.

А теперь?

Один мой знакомый, бельгийский офицер, рассказывал мне о своей жизни в Конго. Он был один, и у него было пятьдесят черных солдат. Его кордон стоял на берегу большой реки, в девственном лесу, где солнце не жжет и бродит желтая лихорадка. По ту сторону жило племя независимых негров, со своим царьком и со своими законами. День сменялся ночью, и вновь наступал день. И утром, и в полдень, и вечером была все та же мутная река с песчаными берегами, те же ярко-зеленые лианы, те же люди с черным телом и непонятным наречием. Иногда он от скуки брал ружье и старался попасть в курчавую голову между ветвей. А когда черным людям с этого берега случалось поймать кого-нибудь из тех, кто на том, пленника привязывали к столбу. От нечего делать его расстреливали, как мишень для стрельбы. И наоборот: когда кто-нибудь из его людей попадался на том берегу, ему разрубали руки и ноги. Затем клали на ночь в реку так, что торчала одна голова, а на утро рубили голову.

Я спрашиваю: чем белый человек отличается от черных?

Чем мы отличаемся от него? Одно из двух: или "не убий", и тогда мы такие же разбойники, как Победоносцев и Трепов. Или "око за око и зуб за зуб". А если так, то к чему оправдания? Я так хочу и так делаю. Или здесь скрытая трусость, боязнь чужого мнения? Боязнь, что скажут"убийца", когда теперь говорят "герой". Но на что мне чужое мнение?

Раскольников убил старушонку, и сам захлебнулся в ее крови. А вот Ваня идет убивать и, убив, будет счастлив и свят. Он говорит: во имя любви. Да разве есть на свете любовь? Разве Христос воистину воскрес в третий день? Все это слова... Нет,

Если вошь в твоей рубашке
Крикнет тебе, что ты блоха,
Выйди на улицу
И убей!

4 апреля.

Федор рассказывает:

- Было это дело на юге в N. Знаешь улицу, что низом от вокзала идет? Ну еще часовой на горке стоит?.. Взял я бомбу - сам изготовил - в платок увернул, наверх взобрался. Недалеко от часового стою, шагах этак в двадцати пяти. Дожидаю. Вот гляжу: пыль пошла, казачишки идут, а за казачишками он, своею персоной, в коляске, и офицер какой-то при нем. Поднял я руку, бомбу высоко держу. Он как глянет, завидел меня, белый, как скатерть, сделался. Я на него смотрю, он - на меня. Тут я, Господи, благослови, с размаху бомбу вниз. Слышу: взорвало. Ну я бежать. Браунинг у меня был хороший, Ванин подарок. Обернулся: часовой меня на винтовку ловит. Стал я кружить, для затруднения, значит. Кружу, а сам из револьвера стреляю. Так, главное для страху. Патроны все расстрелял, обойму переменил, дальше бегу. Глядь, из казармы солдаты бегут, пехота. На ходу в меня из винтовки палят. Им бы оста-

новиться, да с места бы и стрельнуть. Наповал бы убили. Ну перебежал я это поле, до домов добежал. Что такое? Из переулка матросы бегут. Ну я раз-раз, раз-раз, обойму всю опять расстрелял. Уж и не знаю, убил ли кого. Бегу. В улицу завернулся - заводские с работы идут. Я к ним. Слышу: не трожь, ребята, пусть бежит. Я - в толпу, револьвер - в карман, шляпу скинул, нашлепку надел, пиджак скинул, в рубашке остался... папироску тут закурил, завернулся со всеми. Иду. Будто тоже с завода, солдатам, значит, навстречу.

- Ну?

- Ну ничего. Домой пришел. Дома слышу: бомбой коляску взорвало, ему кишки разнесло, да двух казачишек убило.

- А скажи, - спрашиваю я его, - если мы Генерал-Губернатора убьем, ты будешь доволен?

- Барина если убьем?

- Ну да.

Он улыбается. Блестят крепкие, как молоко белые зубы.

- Чудак... Конечно, доволен.

- Но ведь тебя, Федор, повесят.

Он говорит:

- Так что? Две минуты - готово дело. Все там будем.

- Где?

Он хохочет:

- Да у свиней собачьих.

8 апреля.

Прошла страстная неделя. Сегодня веселый перезвон: Пасха. Ночью радостный крестный ход, слава Христу. А с утра вся Москва на Девичьем поле, яблоку негде упасть. Бабы в белых платочках, солдаты, оборванцы, гимназисты. Целуются, щелкают семечки, зубоскалят. На лотках крас-

ные яйца, пряники, американские черти. На ленточках разноцветные пузыри. Люди словно пчелы в улье: гомон и шум.

В детстве говеешь еще на шестой. Пост всю неделю, до причастия ни маковой росинки во рту. На страстной неистово бьешь поклоны, к Плащанице всем телом прильнешь: Господи, прости мне мои прегрешения. У заутрени как в раю: свечи ярко горят, воском пахнет, ризы белые, киот золотой. Стоишь, не вздохнешь: скоро ли воскреснет Христос, скоро ли домой со святым куличом пойдешь? Дома праздник, великое торжество. Всю святую неделю праздник.

А сегодня мне все чужое. Томит колокольный звон, скучен смех. Уйти бы, куда глаза глядят, не вернуться.

- Барин, купите счастье, - сует мне девчонка конверт. Девчонка босоногая, рваная, какая-то вся непраздничная. На клочке старой бумаги напечатано предсказание:

"Если тебя преследуют неудачи, не теряй надежды и не предавайся отчаянию. Труднейшее преодолеешь и повернешь, наконец, к себе колесо фортуны. Твое предприятие окончится полным успехом, которого даже не смеешь ожидать".

Вот и яичко на красный день.

7 апреля.

Ваня живет на Миусах, на постоялом дворе, в артели. Он спит вповалку на нарах. Ест из котла. Сам чистит лошадь, моет пролетку. Днем - на улице, на работе. Он не жалуется, доволен.

Сегодня он в новой поддевке, волосы смазаны маслом, сапоги у него со скрипом. Он говорит:

- Вот и Пасха пришла. Хорошо... Жорж, ведь Христос-то воскрес.

- Ну так что ж, что воскрес?

- Эх ты... радости в тебе нет. Мира ты не приемлешь.

- А ты приемлешь?

- Я? Я - дело другое. Мне тебя, Жоржик, жалко.

- Жалко?

- Ну да. Никого ты не любишь. Даже себя. Знаешь, есть у нас на дворе извозчик Тихон. Черный такой мужик, курчавый. Зол как черт. Был он когда-то богат, потом погорел: подожгли. Простить до сих пор не может. Всех проклинает: Бога, царя, студентов, купцов, даже детей. И тех ненавидит. "Сукины дети все, - говорит, - все подлецы. Кровь христианскую пьют, а Бог с небес радуется..." Давеча прихожу из чайной на двор, гляжу: посреди двора Тихон стоит. Ноги расставил, рукава засучил, кулачища у него громадные, и лошаденку свою возжей по глазам хлещет. Лошаденка-то хилая, еле дышит, морду в гору дерет. А он ее по глазам, по глазам. И давай хлестать еще свирепее. На дворе грязь, вонь, конский навоз, а наши повылезали, смеются Тихон, мол, балует... Так и ты, Жоржик, всех бы ты возжой по глазам... Эх ты, бедняга.

Он скусывает кусочек сахару, долго пьет чай, потом говорит:

- Не сердись. И не смейся. Вот я думаю. Знаешь о чем. Ведь мы нищие духом. Чем, милый, живем? Ведь голой ненавистью живем. Любить-то мы не умеем. Душим, режем, жжем. И нас душат, вешают, жгут. Во имя чего? Ты скажи. Нет, ты скажи.

Я пожимаю плечами.

- Спроси Генриха, Ваня.

- Генриха? Генрих верит в социализм, знает, что люди будут свободны и сыты. Но ведь это же все для Марфы, а что для Марии? За свободу можно, конечно, жизнь отдать. Что за свободу? За слезу одну можно. Я молюсь: пусть не будет рабов, пусть не будет голодных. Но ведь это же, Жоржик, не все. Мы знаем: мир неправдой живет. Где же правда? Скажи.

- Что есть истина? Да?

- Да, что есть истина. А помнишь: "Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего".

- Ваня, Христос сказал: не убий.

- Знаю. Ты о крови пока молчи. Ты вот что скажи: Европа два великих слова миру сказала, два великих слова своею мукой запечатлела. Первое слово: свобода, второе слово: социализм. Ну а мы что миру сказали? Кровь лилась за свободу. Кто ей верит теперь? Кровь лилась за социализм. Что же, по-твоему, социализм - рай на земле? Ну а за любовь, во имя любви кто-нибудь на костре горел? Разве кто-нибудь из нас смел сказать: мало еще, чтобы люди были свободны, мало еще, чтобы с голоду дети не умирали, чтобы матери слезами не обливались. Нужно еще, нужно, чтобы люди друг друга любили, чтобы Бог был с ними и в них. Про Бога-то, про любовь-то забыли. А ведь в Марфе одна половина правды, другая - в Марии. Где же наша Мария? Слушай, я верю: вот идет революция крестьянская, христианская, Христова. Вот идет революция во имя Бога, во имя любви. И будут люди свободны и сыты, и в любви будут жить. Верю: наш народ - народ Божий, в нем любовь, с ним Христос. Наше слово - воскресшее слово: ей, гряди, Господи!.. Маловеры мы и слабы, как дети, и поэтому подымаем меч. Не от силы своей подымаем, а от страха и слабости. Подожди, завтра придут другие, чистые. Меч не для них, ибо будут сильные. Но раньше, чем придут, мы погибнем. А внуки детей будут Бога любить, в Боге жить, Христу радоваться. Мир им откроется вновь, и узнают в нем то, чего мы не видим. А сегодня, Жоржик, Христос воскрес, святая Пасха. Ну так в этот день забудем обиды, перестанем хлестать по глазам...

Он задумчиво умолкает.

- Что ты, Ваня? О чем?

- Да вот, слушай: цепь неразрывная. Нет мне выхода, нет исхода. Иду убивать, а сам в Слово верю, поклоняюсь Христу. Больно мне, больно...

В трактире пьяный гул. Люди справляют праздник. Ваня склонился над скатертью, ждет. Что я могу ему дать? Разве возжой по глазам?..

8 апреля.

Я опять с Ваней. Он говорит:

- Знаешь, когда я Христа узнал? В первый раз Бога увидел? Был я в Сибири, в ссылке. Пошел я раз на охоту. В Обской губе дело было. Обь-то у океана - море. Небо низкое, серое, река тоже серая, серые гребни волн, а берегов не видать, будто вовсе их нет. Высадили меня из лодки на островок. Сговорились: к вечеру, мол, за тобой приедем. Ну брожу я, уток стреляю. Кругом болото, березки гнилые, кочки зеленые, мох. Шел я, шел, от краю совсем отбился. Утку одну застрелил, запала, найти не могу. Ищу между кочек. А тут и вечер упал, потянуло туманом с реки, стало темно. Вот решил я к берегу добираться. Кое-как по ветру взял направление, иду. Шагнул, чувствую: ноги вязнут. Я было на кочку хотел, нет, тону в болотной трясине. Знаешь, медленно так тону, на полвершочка в минуту. Сиверко, дождь пошел. Дернул я ногу, не выдернул, хуже: еще на вершок увяз. Поднял я тут ружье, стал с отчаяния в воздух стрелять. Авось услышат, авось помогут, придут. Нет, тишина, только, слышу, ветер свистит. Вот стою я так, почти по колено в тине. Думаю: в болоте завязну, пузыри надо мною пойдут, будут как прежде одни зеленые кочки. Противно мне стало до слез. Рванул опять ногу - еще того хуже. Оледенел я весь, как осина дрожу: вот он какой конец, на краю света, как муха... И знаешь, в сердце как-то все опустело. Все - все равно: погибать. Закусил я губы до крови, из последних сил рванул в третий раз. Чувствую, выдернул ногу. Тут вдруг радостно стало. Гляжу, бродень в болоте увяз, нога вся в крови. Кое-как я на кочку одной

ногою ступил, ружьем оперся, другую ногу тяну. Ну как стал обеими ногами, боюсь шелохнуться. Думаю: шаг ступлю, значит, обратно в трясину. Так всю ночь до рассвета на одном месте и простоял. Вот в эту длинную ночь, когда я в болоте стоял, и сеял дождь, и небо было темное, и ветер выл, в эту-то ночь я и понял, знаешь, всем сердцем, до конца понял: Бог над нами и с нами. И не страшно мне было, а радостно: с сердца камень упал. А утром товарищи подошли, подобрали меня.

- Перед смертью многие Бога видят. Это от страха, Ваня.

- От страха? Что ж, может быть. Только что же ты думаешь? Бог тебе здесь, в грязном трактире, явиться может? Перед смертью душа напрягается, пределы видны. Вот почему и Бога люди чаще всего перед смертью видят. Увидел и я. Слушай же дальше, - продолжает он, помолчав, - великое счастье Бога увидеть. Пока не знаешь его, не думаешь о нем вовсе. Обо всем думаешь, а о нем нет. Сверхчеловек вот иным мерещится. Ты подумай только: сверхчеловек. И ведь верят: философский камень нашли, разгадку жизни. А по-моему, смердяковщина это. Я, мол, ближних любить не могу, а за это люблю дальних. Как же дальних можешь любить, если нет в тебе любви к тому, что кругом? Если нет любви к тем, что в грязи, в крови, в муках живут? Знаешь, легко умереть за других, смерть свою людям отдать. Жизнь вот отдать труднее. Изо дня в день, из минуты в минуту жить любовью, Божьей любовью к людям, ко всему, что живет. Забывать о себе, не для себя строить жизнь, не для дальних каких-то. Ожесточились мы, озверели. Эх, милый, горько смотреть: мечутся люди, ищут, верят в китайских божков, в деревянных чурбанов, а в Бога верить не могут, а Христа любить не хотят. Яд в нас с детства горит. Вот Генрих не скажет: цветок, говорит: семьи такой-то, вида такого-то, лепестки такие-то, венчик такой-то. За этим сором он цветка не увидел. Так и Бога за сором не видим. Все по арифметике да по разуму. А вот там, когда я под дождем на

болотной кочке стоял, смерти своей дожидался, там я понял: кроме разума есть еще что-то, да шоры у нас на глазах, да не видим, не знаем. Ты, Жоржик, чего смеешься?

- Да ведь ты словно поп приходский.

- Ну пусть поп. А ты мне скажи: можно жить без любви?

- Конечно можно.

- Как же? Как?

- Да плевать на весь мир.

- Шутишь, Жорж.

- Нет. Не шучу.

- Бедный, Жоржик, ты бедный...

Я прощаюсь с ним. Я опять забываю его слова.

10 апреля.

Сегодня я видел Генерал-Губернатора. Он высокий, благообразный старик, в очках с подстриженными усами. Глядя на его спокойное лицо, никто не скажет, что на его совести тысячи жертв.

Я шел через Кремль. На площади, вчера белой, сегодня мокрые камни. Лед стаял, и Москва-река ярко блестит на солнце. В фабричном дыму тонет Замоскворечье. Чирикают воробьи.

У подъезда дворца карета. Я сразу узнал ее: черные кони, желтые спицы колес. Я пересек площадь и пошел к дворцу. В это время дверь распахнулась, часовой стукнул ружьем, городовой отдал честь. С мраморной белой лестницы медленно спускался Генерал-Губернатор. Я снял шляпу. Я низко опустил ее перед ним. Он улыбнулся и приложил руку к фуражке. Он поклонился мне.

В эту минуту я ненавидел его.

Я побрел в Александровский Сад. Ноги вязли в размытой глине дорожек. В березах шумно летали галки. Я чуть не плакал: мне было жаль, что он еще жив.

12 апреля.

В свободные часы я ухожу в Румянцевскую библиотеку. В тихом зале стриженые курсистки, бородатые студенты. Я резко отличаюсь от них своим бритым лицом и высокими воротниками.

Я со вниманием читаю древних. У них не было совести, они не искали правды. Они попросту жили. Как трава растет, как птицы поют. Может быть, в этой святой простоте ключ к приятию мира.

Афина говорит Одиссею:

> Буду стоять за тебя и теперь я, не будешь оставлен
> Мной и тогда, как приступим мы к делу. И думаю, скоро
> Лоно земли беспредельной обрызжется кровью и мозгом
> Многих из тех, беззаконных, твое достоянье губящих.

Какому Богу мне молиться, чтобы он не оставил меня? Где моя защита и кто мой покровитель? Я один. И если нет у меня Бога, я сам себе Бог. Ваня говорит: "Если все позволено, тогда - Смердяков". А чем Смердяков хуже других? И почему нужно бояться Смердякова?

> Лоно земли беспредельной обрызжется кровью и мозгом...

Пусть обрызжется. Я ничего против этого не имею.

13 апреля.

Эрна мне говорит:

- Мне кажется, я жила только для того, чтобы встретить тебя. Ты виделся мне во сне. Я о тебе молилась.

- Эрна, а революция?

- Мы вместе умрем... Слушай, милый, когда я с тобой,

мне кажется, что я маленькая девочка, еще ребенок. Я знаю: я ничего не могу дать тебе. Но у меня есть любовь. Возьми же ее.

И она плачет.

- Эрна, не плачь.

- Я от радости... Видишь, я не плачу уже. Знаешь, я хотела тебе сказать... Генрих...

- Что Генрих?

- Только ты не сердись... Генрих мне вчера сказал, что любит меня. Ну, я же не люблю его. Я люблю только тебя. Ты не ревнуешь, милый ? - шепчет она мне на ухо.

- Ревную? Я?

- Ты не ревнуй. Я не люблю его вовсе. Но он такой несчастный, и мне так больно было, когда он сказал... И еще мне казалось, что я не должна его слушать, что это измена тебе.

- Измена мне, Эрна?

- Милый, я так люблю тебя, и мне так жалко было его. Я сказала, что я ему друг. Ты не сердишься? Нет?

- Будь покойна, Эрна. Я не сержусь и не ревную.

Она обиженно опускает глаза:

- Тебе все равно? Скажи, ведь тебе все равно?

- Слушай, - говорю я, - есть женщины - верные жены, и страстные любовницы, и тихие друзья. Но все они вместе не стоят одной: женщины-царицы. Она не отдает свое сердце. Она дарит любовь.

Эрна испуганно слушает. Потом говорит:

- Так ты не любишь меня совсем?

Я целую ее в ответ. Она прячет лицо на моей груди и шепчет:

- Ведь мы вместе умрем? Да?

- Может быть.

Она засыпает у меня на руках.

15 апреля.

Я сажусь к Генриху в пролетку. За Триумфальной Аркой я говорю ему:

- Ну что, как дела?

- Да что, - качает он головой, - нелегко: целый день под дождем, на козлах.

Я говорю:

- Нелегко, когда человек влюблен.

- Откуда вы знаете? - быстро оборачивается он ко мне.

- Что знаю? Я ничего не знаю. И ничего знать не хочу.

- Вы, Жорж, все смеетесь.

- Я не смеюсь.

Вот и парк. С мокрых сучьев на нас летят разноцветные брызги. Кое-где уже юная зелень травы.

- Жорж.

- Ну?

- Жорж, ведь при изготовлении снарядов бывают иногда взрывы?

- Бывают.

- Значит, Эрну может взорвать.

- Может.

- Жорж.

- Ну?

- Почему вы поручаете ей?

- Ее специальность.

- Специальность?

- Да.

- А кому-нибудь другому нельзя?

- Нельзя... Да вы чего беспокоитесь?

- Нет... Я так... Ничего... К слову пришлось.

Он поворачивает обратно к Москве. На полдороге опять окликает меня:

- Жорж.

- Ну?

- А скоро?

- Думаю, скоро.

- Как скоро?

- Недели две, три еще.

- А выписать вместо Эрны нельзя никого?

- Нет.

Он ежится в своем синем халате, но молчит.

- Прощайте, Генрих. Бодритесь.

- Бодрюсь.

- И право, не думайте ни о ком.

- Знаю. Не говорите. Прощайте.

Он медленно отъезжает. На этот раз я долго смотрю ему вслед.

16 апреля.

Я спрашиваю себя: неужели я все еще люблю Елену? Или я люблю только тень - мою прежнюю к ней любовь? Может быть, Ваня прав, и я не люблю никого, не могу и не умею любить. Может быть, и не стоит любить?

Генрих любит Эрну и будет любить только ее и всю жизнь. Но любовь для него - источник не радости, а муки. А моя любовь - радость?

Я опять в своей комнате, в скучном номере скучной гостиницы. Сотни людей живут под одной крышей со мною. Я им чужой. Я чужой в этом каменном городе, может быть, в целом мире. Эрна отдает мне себя, всю себя, без оглядки. А я не хочу ее и отвечаю - чем? Дружбой? Не ложью ли? Глупо думать об Елене. Глупо целовать Эрну. Но я думаю о первой и целую вторую. Да и не все ли равно?

18 апреля.

Генерал-Губернатор переехал из Нескучного в Крем-

левский дворец. Наши планы опять разбиты. Нужно начать наблюдение сначала. Это труднее в Кремле. Кругом дворца бессменная цепь часовых. На площади и в воротах шпионы. Каждый прохожий у них на примете. Каждый извозчик на подозрении.

Полиция, конечно, не знает, где мы и кто мы. Но по Москве уже ходит молва. Повесят нас, за нами придут другие. Генерал-Губернатор во всяком случае будет убит.

Вчера в трактире я услышал такой разговор. Разговаривали двое: один - по виду приказчик, другой - должно быть, его подручный, мальчишка, лет восемнадцати.

- Это уж, как от Бога кому, - наставительно говорит приказчик, - одному - значит, пуля, другому - бомба. Приходит, слышь, во дворец барышня, при прошении. Допустили. Стал он прошение читать. Покуда читал, она револьвер вынула и давай в него пули садить. Четыре пули ему всадила.

Мальчишка всплескивает руками.

- Ах ты...Что ж, помер?

- Какой... Живучи они собаки.

- Ну?

- Повесили ее, значит. По времени приходит другая. Опять при прошении.

- Неужто же допустили?

- Она было то, се, десятое, пятое. Однако обыскали в прихожей. Глядят, в косе у нее револьвер. Это значит, Бог спас.

- Ну?

- Повесили, значит, ее. Только что же ты думаешь? - рассказчик изумленно разводит руками. - По времени гуляет он у себя в саду, по дорожке. Стража при нем. Вдруг откуда ни возьмись, выстрел. Прямо сердце пуля пронзила. Ахнуть едва успел. Что же впоследствии обнаружилось? Из-за куста солдат в него стрельнул. Свой же солдат, с караула.

- Язви те... Вот так раз.

- Да-а... Солдата, значит, повесили, а он все-таки помер. Так уж положено ему было. Судьба.

Он низко наклоняется через стол и шепчет:

- А нашего, Сенька, слышь, бомбой. Каждый день на стол прокламация: жди, мол, для себя бомбы, скоро рвать тебя будем. И помяни мое слово: не иначе, как разорвут его. Да.

Я тоже думаю так.

20 апреля.

Вчера, наконец, я встретил Елену. Я не думал о ней, я почти забыл, что она здесь, в Москве. Я шел по Петровке и вдруг услыхал чей-то зов. Я обернулся. Передо мною была Елена. Я увидел ее громадные серые глаза, пряди ее черных волос. Я иду с нею рядом. Она с улыбкою говорит:

- Вы забыли меня.

Нам в лицо бьет сноп яркого вечернего солнца. В его лучах тонет улица, золотом горит мостовая. Я краснею как мак. Я говорю:

- Нет. Я не забыл.

Она берет меня под руку и говорит тихо:

- Вы надолго?

- Не знаю.

- Что вы здесь делаете?

- Не знаю.

- Не знаете?

- Нет.

Она вспыхивает густым румянцем.

- А я знаю. Я вам скажу.

- Скажите.

- Вы охотитесь? Да?

- Может быть.

- И вас, наверное, повесят.

- Может быть.

Вечерний луч догорел. На улице прохладно и серо.

Я хочу ей много сказать. Но я забыл все слова. Я говорю только:

- Почему вы в Москве?

- Муж служит.

- Муж?

Я вспоминаю вдруг про этого мужа. Я ведь встретил его. Да, конечно, у нее есть муж.

- Прощайте, - говорю я, неловко протягивая ей руку.

- Вы спешите?

- Да, я спешу.

- Останьтесь.

Я смотрю ей в глаза. Они сияют любовью. Но я опять вспоминаю: муж.

- До свиданья.

Ночью темно и пусто в Москве. Я иду в Тиволи. Гремит оркестр, бесстыдно смеются женщины. Я один.

25 апреля. Петербург.

Генерал-Губернатор уехал в Петербург. Я поехал за ним: быть может, здесь его легче убить. Я радостно встречаю Неву, сияющий купол Исаакия. Весна хороша в Петербурге. Она целомудренно-ясная. Как девушка шестнадцати лет.

Генерал-Губернатор едет к царю, в Петергоф. Я в том же поезде, в вагоне первого класса. Входит нарядно одетая дама. Она роняет платок. Я подаю его ей.

- Вы едете в Петергоф? - говорит она по-французски.

- Да, в Петергоф.

- Вы не русский? - всматривается она в меня.

- Я англичанин.

- Англичанин? Как ваше имя? Я знаю, как ваше имя.

Я колеблюсь минуту. Потом вынимаю карточку. Джордж О'Бриен, инженер, Лондон-Москва.

- Инженер... Как я рада... приезжайте ко мне. Я буду вас ждать.

В Петергофе я снова встречаю ее. На вокзале в буфете она пьет чай с каким-то евреем. Он очень похож на шпиона. Я подхожу к ней. Я говорю:

- Я счастлив встретиться снова.

Она смеется.

Мы гуляем с ней по платформе. Платформа разделена надвое рядами жандармов.

Я спрашиваю:

- Зачем здесь так много жандармов?

- Вы не знаете? Готовится покушение на московского Генерал-Губернатора. Он теперь в Петергофе, поедет с этим же поездом. О, эти негодные анархисты...

- Покушение? На Генерал-Губернатора?

- Ха-ха-ха... Он не знает... Не играйте комедии...

В вагоне кондуктор отбирает билеты. Она подает ему старый конверт. Я читаю внизу печатным курсивом: Петергофское Жандармское Управление.

- У вас, вероятно, сезонный билет? - спрашиваю я ее.

Она густо краснеет:

- Нет, это так... Ничего... Это подарок... Ах, как я рада познакомиться с вами... Я так люблю англичан...

Свисток. Петербургский вокзал. Я кланяюсь ей и украдкой иду за ней следом. Она входит в жандармскую комнату.

- Шпионка, - говорю я себе.

В гостинице я решаю: или за мною следят, и тогда я, конечно, погиб, или эта встреча - случайность, скучное совпадение. Я хочу знать всю правду. Я хочу проверить судьбу.

Я надеваю цилиндр. Беру лихача. Звоню по адресу у подьезда.

- Барышня дома?

- Пожалуйте.

Комната - бомбоньерка. В углу букет чайных роз: цветочное подношение. На столах и на стенах портреты хозяйки. Во всех видах и позах.

- Ах, вы пришли... Как это мило... Садитесь.

Мы опять говорим по-французски. Я курю сигару, держу на коленях цилиндр.

- Вы живете в Москве?

- Да, в Москве.

- Нравятся вам русские дамы?

- Лучшие дамы в мире.

В двери стучат.

- Войдите.

Входят два господина, очень черных, очень усатых. Не то шулера, не то сутенеры. Мы жмем руки друг другу.

Все трое отходят к окну.

- Это кто? - слышу я шепот.

- Это? Ах, это инженер-англичанин, богатый. Ты говори, не стесняйся: он по-русски ни слова.

Я встаю:

- Жалею, что должен уйти. Честь имею вам кланяться.

Снова жму руки. А на улице смех: слава Богу, я - англичанин.

26 апреля. Петербург.

Генерал-Губернатор едет обратно в Москву. Я брожу по Петербургу без цели.

Вечереет. Над Невою пурпур зари. Четкий шпиц крепости пронзает небо.

У крепостных дубовых ворот трехцветная будка - символ нашего рабства. За белой стеной темная пасть коридора. По каменным плитам эхо шагов. В камерах мрак, решетка окон. Ночью трепетный бой курантов. Великая скорбь на всю землю.

Многие из моих друзей повешены здесь. Многие еще будут повешены.

Я вижу низкие бастионы, старые стены. Мало сил отомстить, мало сил разбить камень о камень. Но ведь день великого гнева придет...

Кто устоит в этот день?

28 апреля.

В парке еще светло. Липы голые, но орешник уже оделся листвой. В зеленых кустах поют птицы.

Елена рвет, нагибаясь, цветы. Оборачивается ко мне и смеется:

- Как хорошо... Неправда ли, как сегодня радостно и светло?

Да, мне радостно и светло. Я смотрю ей в глаза, и мне хочется сказать, что в ней радость и что она - яркий свет. Я тоже невольно смеюсь.

- Как давно я не видела вас... Где вы были, где жили, что видели, что узнали?.. Что вы думали обо мне?

И, не ожидая ответа, краснеет.

- Я так боялась за вас.

Я не запомню такого утра. Цветут ландыши, пахнет весной. В небе тают перистые облака, догоняя друг друга. В моей душе опять радость: она за меня боялась.

- Знаете, я живу и не замечаю жизни. Вот я смотрю на вас, и мне кажется, вы - не вы, а кто-то чужой и все-таки милый. Да, ведь вы мне чужой... Разве я знаю вас? Разве вы знаете меня? И не надо... Ничего не надо нам знать. Ведь нам и так хорошо?.. Неправда ли хорошо?

И, помолчав, говорит с улыбкой:

- Нет, скажите же мне, что вы делали, чем вы жили?

- Вы ведь знаете, чем я живу.

Она опускает глаза:

- Так правда... террором?

- Террором.

По ее лицу пробегает тень. Она взяла меня за руку и молчит.

- Слушайте, - говорит она наконец, - я ничего в этом не понимаю... Но скажите, зачем убивать... Зачем? Вот смотрите, как здесь хорошо: расцветает весна, поют птицы. А вы думаете о чем? Живете чем?.. Смертью? Милый, зачем?

Она настойчиво повторяет:

- Милый, зачем?

На деревьях уже роса. Заденешь ветку плечом - брызнет дождь разноцветных капель. Я молчу.

- Не лучше ли жить, попросту жить?... Или я не поняла вас? Или так нужно... Нет, Нет, - отвечает она себе, - так не нужно, не может быть нужно...

И я робко спрашиваю, как мальчик:

- Что же нужно, Елена?

- Вы спрашиваете меня? Вы?.. Разве я знаю? Разве я могу знать? Ничего, ничего я не знаю... Да и знать не хочу... А сегодня нам хорошо... И не надо думать о смерти... Не надо...

Вот она опять рвет со смехом цветы, а я думаю, что скоро я снова буду один и ее детский смех зазвучит не для меня - для другого.

Кровь бросается мне в лицо. Я говорю едва слышно:

- Елена.

- Что, милый?

- Вы спрашиваете меня, что я делал?.. Я... я помнил о вас.

- Помнили обо мне?

- Да... вы ведь видите: я вас люблю...

Она опускает глаза.

- Не говорите мне так.

- Почему?

- Боже мой... Не говорите. Прощайте.

Она быстро уходит. И долго еще между белых берез мелькает ее черное платье.

29 апреля.

Я написал Елене письмо.

"Мне кажется, что я не видел вас долгие годы. Каждый час и каждую минуту я чувствую, что вас нет со мной. Днем и ночью, всегда и везде - вот я вижу ваши сияющие глаза.

Я верю в любовь, в свое право любить. В глубине моего сердца, на самом его дне, живет спокойная уверенность, предчувствие будущего. Так должно быть. Так будет.

Я люблю вас, и я счастлив. Будьте же счастливы любовью и вы".

Я получил короткий ответ.

"Завтра в Сокольниках в шесть часов".

30 апреля.

Елена мне говорит:

- Я рада, я счастлива, что вы со мною... Но не говорите мне о любви.

Я молчу.

- Нет, обещайте: не говорите мне о любви... И не печальтесь, не думайте ни о чем.

- Я думал о вас.

- Обо мне?.. Не думайте обо мне...

- Почему?

И я сам тотчас же отвечаю:

- Вы замужем? Муж? Честь мужа? Долг честной женщины? О, конечно, простите... Я осмелился говорить о своей любви, я осмелился просить вашей. Для добродетель-

ных жен есть только домашний покой, чистые комнаты сердца. Простите.

- Как вам не стыдно?

- Нет, мне не стыдно. Я знаю: трагедия любви и подвенечного платья, законного брака, законных супружеских поцелуев. Не мне стыдно, Елена, а вам.

- Молчите.

Несколько минут мы молча идем по узкой дорожке парка. На ее лице еще гнев.

- Слушайте, - поворачивается она ко мне, - неужели для вас есть закон?

- Не для меня, а для вас.

- Нет... А вот вы... Вы живете кровью. Пусть это нужно, но вы... зачем вы живете кровью?

- Не знаю.

- Не знаете?

- Нет.

- Слушайте, ведь это закон... Вы сказали себе: так нужно.

Я говорю, помолчав:

- Нет. Я сказал: я хочу.

- Вы так хотите?

- Ну да.

Вдруг она мягко кладет мне руки на плечи:

- Милый, милый мой Жорж.

И быстро, гибким движением целует меня прямо в губы. Долго и жарко. Я открываю глаза: ее уже нет. Где она? И не сон ли мне снился?

1 мая.

Сегодня первое мая - праздник рабочих. Я люблю этот день. В нем много света и радости. Но именно сегодня я бы охотно убил Генерал-Губернатора.

Он стал осторожен. Он прячется во дворце, и мы напрасно следим за ним. Мы видим только сыщиков и солдат. И они видят нас. Я думаю поэтому прекратить наблюдение.

Я узнал: 14-го, в день Коронации, он поедет в театр. Мы запрем Кремлевские ворота. Ваня станет у Спасских, Федор - у Троицких, Генрих - у Боровичьих. И здесь будет наше терпение.

Я радуюсь заранее победе. Я вижу кровь на мундире. Вижу темные своды церкви, зажженные свечи. Слышу пение молитв, душный ладан кадила. Я хочу ему смерти.

Я хочу ему "огня и озера огненного".

2 мая.

Эти дни я как в лихорадке. Вся моя воля в одном: в моем желании убить. Каждый день я зорко смотрю, нет ли за мной шпионов. Я боюсь, что мы посеем, но не пожнем, что нас арестуют. Но я не сдамся живым.

Я живу теперь в гостинице "Бристоль". Вчера принесли мне мой паспорт. Принес из участка сыщик. Он топчется на пороге и говорит:

- Осмелюсь спросить, господин пристав спрашивают, какого изволите быть вероисповедания?

Странный вопрос. В паспорте сказано, что я лютеранин. Я, не поворачивая головы, говорю:

- Как?

- Какого исповедания-с? Веры какой-с?

Я беру в руки паспорт. Я громко читаю английский титул лорда Ландсдоуна: "We, Henry Charles Keith Petly Fitz Maurice Marquess of Lansdowne, Earl Wycombe" и т.д. Я не умею читать по-английски. Я произношу все буквы подряд.

Сыщик внимательно слушает.

- Понял?

- Так точно.

Я говорю с сильным акцентом:

- Иди к приставу, скажи: сейчас телеграмма посланнику. Понял?

- Так точно.

Я стою спиною к нему, смотрю в окно. Я говорю очень громко.

- А теперь пошел вон.

Он с поклоном уходит. Я остаюсь один. Неужели за мной следят?

6 мая.

Мы встретились в Кунцеве, у полотна железной дороги: я, Ваня, Генрих и Федор. Они в сапогах бутылками, в картузах по-мужицки.

Я говорю:

- 14-го Генерал-Губернатор поедет в театр. Нужно теперь же решить места. Кто бросит первую бомбу?

Генрих волнуется:

- Первое место мне.

У Вани русые кудри, серые глаза, бледный лоб. Я вопросительно смотрю на него.

Генрих повторяет:

- Непременно мне, непременно.

Ваня ласково улыбается:

- Нет, Генрих, я жду очень давно. Не огорчайтесь, за мною право. За мною первое место.

Федор равнодушно пыхтит папиросой.

Я спрашиваю:

- Федор, а ты?

- Что ж, я всегда готов.

Тогда я говорю:

- Генерал-Губернатор, вероятно, поедет через Спасскую

башню. Ваня станет у Спасской, у Троицкой - Федор, Генрих - у Боровичьей. Ваня бросит первую бомбу.

Все молчат.

По железнодорожному полотну вьются тонкие рельсы. Столбы телеграфа уходят вдаль. Тихо. Только проволока гудит.

- Слушай, - говорит Ваня, - я вот о чем думал. Ведь легко ошибиться. Бомба весом 4 кило. Бросишь с рук - не всегда попадешь. Попадешь, например, в заднее колесо - ну и останется жив. Помнишь, как 1-го марта, как Рысаков.

Генрих волнуется:

- Да, да... Как же быть?

Федор внимательно слушает. Ваня говорит:

- Лучшее средство - кинуться под ноги лошадям.

- Ну?

- Ну, наверное, взорвет карету и лошадей.

- И тебя тоже взорвет.

- И меня.

Федор с презрением пожимает плечами.

- Не надо этого ничего. И так убьем. Подбежать к окну -да в стёкло. Вот и готово дело.

Я смотрю на них. Федор навзничь лежит на траве, и солнце жжет его смуглые щеки. Он жмурится: рад весне. Ваня, бледный, задумчиво смотрит вдаль. Генрих ходит взад и вперед и порывисто курит. Над нами синее небо.

Я говорю:

- Я скажу, когда продавать пролетки. Федор оденется офицером, ты, Ваня, - швейцаром, вы, Генрих, останетесь мужиком, в поддевке.

Федор поворачивается ко мне. Он доволен. Смеется.

- Я, говоришь, его благородием... Ловко... Значит, без пяти минут барин.

Ваня говорит:

- Жоржик, нужно еще о снарядах подумать.

Я встаю.

- Будь спокоен. Все помню.

Я жму им всем руки. На дороге меня догоняет Генрих.

- Жорж.

- Ну что?

- Жорж... Как же это... Как же Ваня пойдет?

- Так и пойдет.

- Значит, погибнет?

- Погибнет.

Он смотрит себе под ноги, на траву. На свежей траве следы наших ног.

- Я этого не могу, - говорит он глухо.

- Чего "не могу"?

- Да этого... Что бы он шел...

Он останавливается. Он говорит быстро:

- Лучше я первый пойду. Я погибну. Как же так, если его повесят? Ведь повесят? Повесят?

- Конечно, повесят.

- Ну так я не могу. Как будем жить, если он умрет? Пусть лучше повесят меня.

- И вас, Генрих, повесят.

- Нет, Жорж, слушайте, нет... Неужели его не будет? Вот мы спокойно решили, а от нашего решения Ваня, наверное, погибнет. Главное, что наверное. Нет, Бога ради, нет...

Он щиплет бородку. Руки его дрожат. Я говорю:

- Вот что, Генрих, одно из двух: или так, или этак. Или террор, и тогда оставьте все эти скучные разговоры, или разговаривайте, и уйдите назад, в университет.

Он молчит. Я беру его под руку.

- Помните, Того своим японцам сказал: "Я жалею лишь об одном, что у меня нет детей, которые бы разделили с вами вашу участь". Ну и мы должны жалеть об одном, что не можем разделить участи Вани. И не о чем плакать.

Близко Москва. На солнце искрится Триумфальная арка. Генрих подымает глаза.

- Да, Жорж, вы правы.

Я смеюсь:

- И подождите еще: suum quique.

7 мая.

Эрна приходит ко мне, садится в угол и курит. Я не люблю, когда женщины курят. И мне хочется ей об этом сказать.

- Скоро, Жоржик? - спрашивает она.

- Скоро.

- Когда?

- 14-го, в Коронацию.

Она кутается в теплый платок. Видны только ее голубые глаза.

- Кто первый? Ваня?

- Да, Ваня.

Мне неприятны ее большие руки, неприятен ласковый голос, неприятен румянец щек. Я отворачиваюсь. Она говорит:

- Когда готовить снаряды?

- Подожди. Я скажу.

Она долго курит. Потом встает и молча ходит по комнате. Я смотрю не ее волосы. Они льняные и вьются на висках и на лбу. Неужели я мог ее целовать?

Она останавливается. Засматривает мне робко в глаза.

- Ведь ты веришь в удачу?

- Конечно.

Она вздыхает:

- Дай Бог.

- А ты, Эрна, не веришь?

- Нет, верю.

Я говорю:

- Если не веришь, уйди.

- Что ты, Жоржик, милый. Я верю.

Я повторяю:

- Уйди.

- Жорж, что с тобою?

- Ах, ничего. И оставь меня ради Бога.

Она опять прячется в угол, снова кутается в платок.

Я не люблю этих женских платков. Я молчу.

Тикают на камине часы. Я боюсь: я жду жалоб и слез.

- Жоржик.

- Что, Эрна?

- Нет. Ничего.

- Ну так прощай. Я устал.

В дверях она шепчет грустно:

- Милый, прощай.

Ее плечи опущены. Губы дрожат.

Мне ее жаль.

8 мая.

Говорят, где нет закона, нет и преступления. В чем же мое преступление, если я целую Елену? В чем вина, если я не хочу больше Эрны. Я спрашиваю себя. Я не нахожу ответа.

Если бы у меня был закон, я бы не убивал, я, вероятно, не целовал бы Эрны и не искал бы Елены. Но в чем мой закон?

Говорят еще, нужно любить человека. А если нет в сердце любви? Говорят, нужно его уважать. А если нет уважения? Я на границе жизни и смерти. К чему мне слова о грехе? Я могу сказать про себя: "И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть". Где ступает ногой этот конь, там вянет трава, а где вянет трава, там нет жизни, значит, нет и закона. Ибо смерть - не закон.

9 мая.

Федор продал на Конной свой выезд. Он уже офицер, драгунский корнет. Звякают шпоры, звенит сабля по мостовой. В форме он выше ростом, и походка у него увереннее и тверже.

Мы сидим с ним в Сокольниках, на пыльном кругу. Поют в оркестре смычки. Мелькают мундиры военных, белые туалеты дам. Солдаты отдают Федору честь.

Он говорит:

- Слышь, как по-твоему, сколько плочено вот за этот костюм?

Он тычет в нарядную даму за соседним столом.

Я пожимаю плечами.

- Не знаю. Рублей, вероятно, двести.

- Двести?

- Ну да.

Молчание.

- Слышь.

- Что?

- А я вот работал, целковый в день получал.

- Ну?

- Ну ничего.

Вспыхивают электрические огни. Низко над нами сияет матовый шар. На белой скатерти синие тени.

- Слышь.

- Что, Федор?

- А что ты думаешь, если, к примеру, этих?

- Что этих?

- Ну бомбой.

- Зачем?

- Чтобы знали, что рабочие люди как мухи мрут.

- Федор, это ведь анархизм.

Он переспрашивает:

- Чего?

- Анархизм это, Федор.

- Анархизм?.. Экое слово... Вот за этот костюм плочено двести рублей, а дети копеечку просят. Это как?

Мне странно видеть его серебряные погоны, белый китель, белый околыш. Мне странно слышать эти слова.

Я говорю:

- Что ты сердишься, Федор?

- Эх, нету правды на свете. Мы день-деньской на заводе, матери воют, сестры по улицам шляются... А эти... двести рублей... Эх... Бомбой бы их всех, безусловно.

Тонут во мраке кусты, жутко чернеет лес. Федор облокотился о стол и молчит. В его глазах злоба.

- Бомбой бы их всех, безусловно.

10 мая.

Осталось всего три дня. Через три дня Генерал-Губернатор будет убит. Нетленное обратится в тлен.

Образ Елены заволокло туманом. Я закрываю глаза, я хочу его воскресить. Я знаю: у нее черные волосы и черные брови, у нее тонкие руки. Но я не вижу ее. Я вижу мертвую маску. И все-таки в душе живет тайная вера: она опять будет моею.

Мне теперь все равно. Вчера была гроза, гремел первый гром. Сегодня трава умылась, и в Сокольниках расцветает сирень. На закате кукует кукушка. Но я не замечаю весны. Я почти забыл об Елене. Ну пусть она любит мужа, пусть она не будет моею. Я один. Я останусь один.

Я так говорю себе. Но я знаю: уйдут короткие дни и я опять буду мыслью с нею. Жизнь замкнется в кованый круг. Если только уйдут эти дни...

Сегодня я шел по бульвару. Еще пахло дождем, но уже щебетали птицы. Справа, на мокрой дорожке, рядом со мной я заметил какого-то господина. Он еврей, в котелке, в

длинном желтом пальто. Я свернул в глухой переулок. Он стал на углу и долго смотрел мне вслед.

Я спрашиваю себя опять: не следят ли за мною?

11 мая.

Ваня все еще извозчик. Он по-праздничному пришел ко мне на свидание. Мы сидим на скамье у Христа Спасителя в сквере.

- Жоржик, вот и конец.

- Да, Ваня, конец.

- Как я рад. Как я буду счастлив и горд. Знаешь, вся жизнь мне чудится сном. Будто я на то и родился, чтобы умереть и... убить.

Белый храм уходит главами в небо. Внизу на солнце блещет река. Ваня спокоен. Он говорит:

- Трудно в чудо поверить. А если в чудо поверишь, то уже нет вопросов. Зачем насилье тогда? Зачем меч? Зачем кровь? Зачем "не убий"? А вот нет в нас веры. Чудо, мол, детская сказка. Но слушай, и сам скажи, сказка иль нет. И быть может, вовсе не сказка, а правда. Ты слушай.

Он вынимает черное, в кожаном переплете Евангелие. На верхней крышке тисненый позолоченный крест.

"Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию? Итак, отняли камень, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! Иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребаль-

ными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет".

Ваня закрыл Евангелие. Я молчу. Он задумчиво повторяет:

- "Господи! уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе..."

В синем воздухе вьются ласточки. За рекою в монастыре звонят к вечерням. Ваня вполголоса говорит:

- Слышишь, Жоржик, четыре дня...

- Ну?

- Великое чудо.

- И Серафим Саровский - чудо?

Ваня не слышит.

- Жорж.

- Что, Ваня?

- Слушай.

"Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб.

И видит двух ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы, другого у ног, где лежало тело Иисуса.

И они говорят ей: жена, что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.

Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус.

Иисус говорит ей: жена! Что ты плачешь? Кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: Господин! Если Ты вынес Его, скажи мне, где Ты положил Его, и я возьму Его.

Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни! что значит: Учитель!"

Ваня умолк. Тихо.

- Слышал, Жорж?

- Слышал.

- Разве сказка? Скажи.

- Ты, Ваня, веришь?

Он говорит наизусть:

"Фома же один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал им: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои, и не будь неверующим, но верующим. Форма сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие".

- Да, Жоржик, прощай. Навсегда прощай. И будь счастлив.

В его чистых глазах печаль. Я говорю:

- Ваня, а "не убий"...

- Нет, Жоржик, убий.

- Это ты говоришь?

- Да, я говорю. Убий, чтобы не убивали. Убий, чтобы люди по-Божьи жили, чтобы любовь освятила мир.

- Это кощунство, Ваня.

- Знаю. А "не убий" - не кощунство?

Он протягивает мне обе руки. Улыбается большой и светлой улыбкой. И вдруг целует крепко, как брат.

- Будь счастлив, Жоржик.

Я тоже целую его.

12 мая.

У меня сегодня было свиданье с Федором в кондитерской Ciy. Мы сговаривались о подробностях покушения.

Я первый вышел на улицу. У соседних ворот я заметил

трех сыщиков. Я узнал их по быстрым глазам, по их напряженным взглядам. Я застыл у окна. Я сам превратился в сыщика. Я ищейкой следил за ними. Для нас они или нет?

Вот вышел Федор. Он спокойно пошел на Неглинный. И сейчас же один из шпионов, высокий, рыжий, в белом фартуке и засаленном картузе, бросился на извозчика. Двое других побежали за ним бегом. Я хотел догнать Федора, я хотел остановить его. Но он взял случайного лихача. За ним помчалась вся свора - стая злобных борзых. Я был уверен, что он погиб.

Я тоже был не один. Кругом какие-то странные люди. Вот человек в пальто с чужого плеча. Голова низко опущена, красные руки сложены на спине. Вот какой-то хромой в рваных заплатах, нищий с Хитрова рынка. Вот мой недавний знакомый, еврей. Он в цилиндре, с черной подстриженной бородой. Я понял, что меня арестуют.

Бьет двенадцать часов. В час у меня свиданье с Ваней в Георгиевском переулке. Ваня еще не продал пролетки. Он извозчик. Я втайне надеюсь, что он увезет меня.

Я иду на Тверскую. Я хочу затеряться в толпе, утонуть в уличном море. Но опять впереди та же фигура: руки сложены на спине, ноги путаются в полах пальто. И опять рядом черный еврей в цилиндре. Я заметил: он не спускал с меня глаз.

Я свернул в переулок. Вани там нет. Я дошел до конца и повернул круто обратно. Чьи-то глаза гвоздями впились в меня. Кто-то зоркий следит, кто-то юркий не отстает ни на шаг.

Я опять на Тверской. Я помню: там за углом пассаж, двери на переулок. Я вбегаю. Я прячусь в воротах. Прижался спиной к стене и застыл. Длятся минуты - часы. Я знаю: тут же рядом черный еврей. Он караулит. Он ждет. Он кошка - я мышь. До дверей четыре шага. Я ставлю браунинг на "огонь", мерю расстояние глазами. И вдруг одним прыжком

в переулке. Ваня медленно идет навстречу. Я бросаюсь к нему:

- Ваня, гони!

Стучат колеса по мостовой, на поворотах трещат рессоры. Мы сворачиваем за угол. Ваня хлещет свою лошаденку. Я оборачиваюсь назад: пустой переулок коленом. Нет никого. Мы ушли.

Итак, нет колебаний: за нами следят. Но я не теряю надежды. А если это только случайное наблюдение? Если они не знают, кто мы? Если мы успеем закончить дело? Если сумеем убить?

Но я вспоминаю: Федор. Что с ним? Не арестован ли он?

13 марта.

Федор ждет меня на Софийке в ресторане "Медведь". Я должен увидеть его. Если он окружен, дело погибло. Если ему удалось уйти, мы дотянем до завтра и завтра же победим.

Я за трактирным столом у окна. Мне видна улица, виден городовой в намокшем плаще, извозчик с поднятым верхом, зонтики редких прохожих. Дождь барабанит по стеклам, уныло струится с крыш. Серо и скучно.

Входит Федор. Звякают шпоры, он здоровается со мной. А на улице под дождем вырастают знакомые мне фигуры. Двое, спрятав мокрые лица в воротники, караулят подъезд. С городовым на углу начеку еще двое. Один из них - вчерашний хромой. Я ищу глазами еврея. Вот, конечно, и он под резным навесом ворот.

Я говорю:

- Федор, за нами следят.

- Чего ты?

- Следят.

- Не может этого быть.

Я беру его за рукав.

- Ну-ка взгляни.

Он пристально смотрит в окно. Потом говорит:

- Глянь-ка, вон этот хромой, ишь пес, как вымок... Да-а... Дела... Чего делать-то, Жорж?

Дом оцеплен полицией. Нам едва ли уйти. Нас схватят на улице.

- Федор, револьвер готов?

- Револьвер? Восемь патронов.

- Ну, брат, идем.

Мы спускаемся с лестницы. Ливрейный швейцар почтительно распахнул перед нами дверь. В кармане пальто револьвер, рука на курке. На десять шагов мы без промаха бьем в туза.

Мы идем плечо о плечо. Звеня, волочится сабля. Я знаю: Федор решился. Я решился давно.

Вдруг Федор локтем толкает меня. Он шепчет скороговоркой:

- Гляди, Жорж, гляди.

На углу одинокий лихач.

- Барин, вот резвая... Барин...

- Пять целковых на чай. Шевели.

Призовой рысак мчится крупною рысью. Нам в лицо летят комья грязи. Сетка дождя затянула небо. Где-то сзади слышно: держи!

От коня валит густой пар. Я трясу кучера за плечо:

- Эй, лихач, еще пять рублей.

В парке соскакиваем в кусты. Мокро. Брызжут деревья. Дождь размыл все дорожки. Мы бежим по лужам бегом.

- Федор, прощай. Уезжай сегодня же в Тверь.

Его форменное пальто мелькнуло в зеленых кустах и скрылось. Под вечер я в Москве. Я в гостиницу не вернусь. Дело погибло бесповоротно. А что с Ваней? С Генрихом? С Эрной?

У меня нет ночлега, и я долгую ночь брожу по Москве.

Тает лениво время. До рассвета еще далеко. Я устал и продрог, и у меня болят ноги. Но в сердце надежда: упование мое со мною.

14 мая.

Я сегодня вызвал Елену запиской. Она пришла ко мне в Александровский сад. У ней сияющие глаза и черные кудри. Я говорю:

- Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее, ибо любовь крепка, как смерть. Елена, скажите, и я брошу все. Я уйду из революции, уйду из террора. Я буду вашим слугою.

Она смотрит на меня, улыбаясь. Потом задумчиво говорит:

- Нет.

Я наклонился к ней близко. Я шепотом говорю:

- Елена... Вы любите его?.. Да?

Она молчит.

- Вы не любите меня, Елена?

Она вдруг сильным движением протягивает ко мне свои длинные, тонкие руки. Она обнимает меня. Она шепчет мне:

- Люблю, люблю. Люблю.

Я услышал ее слова, я почувствовал ее тело. Живая радость вспыхивает во мне, и я говорю с усилием:

- Я уезжаю, Елена.

- Куда?

- В Петербург.

Она бледнеет. Я смотрю ей прямо в глаза.

- Вот что, Елена. Вы не любите меня. Вы не знаете меня. Если бы вы любили, вы бы мучились мною. Вот за мною следят. Я на одном волоске. Может быть, завтра меня повесят. Но мне все равно: вы не любите меня.

Она с тревогой переспрашивает меня:

- Вы сказали: за вами следят?

Сухо шепчет вечерний ветер, пахнет дождем. В парке нет никого, мы одни. Я говорю громко:

- Да, следят.

- Жорж, милый, уезжайте скорее, скорее...

Я смеюсь:

- И больше не возвращайтесь?

Она говорит:

- Я люблю вас, Жорж.

- Не смейтесь. Как смеете вы говорить о любви? Разве это любовь? Вы с мужем, и я для вас чужой и разве любимый?

- Я люблю вас, Жорж.

- Любите?.. Вы ведь с мужем.

- Ах, с мужем... Не говорите же про него.

- Вы его любите? Да?

Но она снова молчит.

Тогда я ей говорю:

- Слушайте, Елена, я люблю вас, и я вернусь. И вы будете моею. Да, вы будете моею.

Она опять обнимает меня.

- Милый, я с вами, я ваша...

- И его? Да, и его?

Я ухожу. Гаснет вечер. Желтым светом горят фонари. Гнев душит меня. Я говорю себе: его и моя, моя и его. И его, и его, и его.

15 мая.

Сегодня в газетах напечатано:

"В течение последней недели чинами Охранного Отделения было обнаружено приготовление к покушению на жизнь Московского Генерал-Губернатора, каковое покушение должно было состояться 14-го сего мая, по окончании

божественной литургии в Успенском Соборе. Благодаря своевременно принятым мерам преступной шайке не удалось привести свой злодейский умысел в исполнение, члены же ее скрылись и до сих пор не задержаны. К розыску их также приняты меры".

Мне смешно: "приняты меры". Разве мы не приняли своих? Победа еще не за нами, но в этом ли поражение? Генерал-Губернатор, конечно, жив, но ведь и мы живы. Федор, Эрна и Генрих уже уехали из Москвы, Ваня и я уезжаем сегодня. Мы вернемся обратно. Наше слово - закон, и нам - отмщение.

Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто поднял меч, тот от меча и погибнет. Так написано в книге жизни. Мы раскроем ее и снимем печати: Генерал-Губернатор будет убит.

18 сентября.

Вчера было то, чего я ждал и во что втайне не верил. День скорби и поругания. Я шел по Кузнецкому мосту. Ползал молочный туман, таял волнистою мглою.

Я шел без цели, без мыслей, как корабль в волнах без руля.

Вдруг в тумане сгустилось пятно, колыхнулась неясная тень. Прямо навстречу мне быстро шел офицер. Он взглянул на меня и сразу остановился. Я узнал: муж Елены. Я впился глазами в глаза и в темных зрачках прочел гнев.

Тогда я мягко взял его за руку и сказал:

- Я ждал вас давно.

Мы молча пошли по Тверской. Мы шли долго во мгле, и оба знали свой путь. И были близки, как братья. Так вышли мы в парк.

В парке осень. Ветви голые - решетка тюрьмы. Тает туман, в тумане мокнет трава. Пахнет гнилью и мхом.

Далеко, в заросшей чаще, я выбираю тропинку. Я сажусь на срубленный пень и холодно говорю:

- Вы узнали меня?

Он молча кивает мне головой.

- Вы знаете, зачем я в Москве?

Он кивает опять.

- Ну вы знаете: я не уеду.

Он с усмешкой говорит:

- Вы уверены в этом?

Уверен ли я? Я не знаю. Кто поймет, кого любит Елена? Но я говорю только:

- А вы?

Пауза.

- Вот что, вы уедете из Москвы. Поняли? Вы.

Он вспыхнул гневным румянцем. Но говорит хладнокровно:

- Вы - сумасшедший.

Тогда я, молча, вынимаю оружие. Я мерю восемь шагов по траве и кладу на концах их мокрые прутья - барьер. Он следит со вниманием. Я кончаю. Он говорит, улыбаясь:

- Что ж, вы хотите драться?

- Я требую: уезжайте.

Белокурый и стройный, он смотрит мне прямо в глаза. И насмешливо повторяет:

- Вы - сумасшедший.

Я говорю, помолчав:

- Вы будете драться?

Он отстегнул кобуру, нехотя вынул револьвер. Потом подумал минуту и говорит:

- Хорошо... Я к вашим услугам.

Вот он уже у барьера. Я знаю: я бью в туза на десять шагов. Промаха быть не может.

Я поднял револьвер. На черной мушке пуговица пальто. Я жду. Тишина. Я говорю очень громко:

- Раз...

Он молчит.

- Два и... три.

Он стоит неподвижно, грудью ко мне. Его револьвер опущен. Он насмехается надо мной... Вдруг какой-то горячий и жесткий комок сжимает мне горло. Я в гневе кричу:

- Стреляйте...

Ни звука. Тогда я медленно, радостно, долго нажимаю курок. Желтым светом сверкнуло пламя, пополз белый дым.

Я пошел по мокрой траве и наклонился над телом. Он лежал на тропинке ничком в холодной и мягкой грязи. Странно согнулась рука, широко раскинулись ноги. Сеял дождь. Была мгла. Я свернул в чащу леса. Уже сумерки набежали. Между деревьями - ни зги. Я шел, и не было цели. Так идет корабль без руля.

20 сентября.

В Цусимском бою бессмысленно гибли люди. Темная ночь, в море мгла, ходит зыбь. Как огромный раненый зверь, прячется броненосец. Чуть чернеют черные трубы, молчат гремевшие пушки. Днем дрались, ночью бегут, ждут атаки. Сотни глаз шарят тьму. И вдруг вопль - крик испуганной чайки: "Миноносец по борту"... Вспыхнул прожектор, белым светом ослепла ночь. А потом... Кто на палубе - кинулся в море. Кто внутри, за кованой броней - бьется о люк. Медленно тонет корабль, уходит носом под воду. Машинисты в машине кулями срываются вниз. Их бьют железные цепи, крошат колеса, душит дым, обжигает пар. Так гибнут они. Бессмысленно-безымянная смерть.

А вот смерть еще. Север, море, северный шторм. Ветер рвет паруса, взвивает белую пену. В серых волнах рыбачья лодка. Серый день меркнет бледной зарею. Где-то вдали загорелся маяк. Красный, белый и снова красный. Люди застыли на скользком носу, вцепились в канаты. Ропщет

волна, брызжет дождь... И вдруг сквозь вой ветра - медленный звон. У низкого борта бьется колокол на воде и звонит. Это бакен. Это мель. Это смерть... И потом опять ветер, небо и волны. Но уже нет никого.

И смерть еще: я убил человека... До сих пор я имел оправдание: я убиваю во имя террора, для революции. Те, что топили японцев, знали, как я: смерть нужна для России. Но вот я убил для себя. Я захотел и убил. Кто судья? Кто осудит меня? Кто оправдает? Мне смешны мои судьи, смешны их строгие приговоры. Кто придет ко мне и с верой скажет: убить нельзя, не убий? Кто осмелится бросить камень? Нету грани, нету различия. Почему для террора убить - хорошо, для отечества - нужно, для себя - невозможно? Кто мне ответит?

Вот в окно глядит ночь, я вижу горящие звезды. Блещет Медведица, струится серебряный Млечный путь, робко сверкают Плеяды. Что за ними?.. Ваня верил. Он знал. А я стою одинокий, и ночь непонятно молчит, и земля дышит тайной, и загадочно мерцают звезды. Я прошел трудный путь. Где конец? Где мой заслуженный отдых? Кровь родит кровь, и месть живет местью. Я убил не только его... Камо пойду и камо бегу?

22 сентября.

Сегодня с утра льет дождь, мелкий, осенний. Я смотрю в его паутинную сеть, и лениво, как капли, меня тревожат скучные мысли.

Жил Ваня и умер. Жил Федор, его убили. Жил Генерал-Губернатор, и его уже нет... Живут, умирают, родятся. Живут, умирают... Хмурится небо, льет дождь.

Во мне нет раскаяния. Да, я убил... Во мне нет горечи за Елену. Будто мой разбойничий выстрел выжег любовь. Мне чужда теперь ее мука. Я не знаю, где она и что с нею. Пла-

чет она над ним, над своей беспорочной жизнью или уже забыла? Кого забыла? Меня? Меня и его. Опять его. Мы и теперь с ним скованы цепью.

Сеет дождь, шумит по железным крышам. Ваня сказал: как жить без любви? Это Ваня сказал, а не я... Нет. Я мастер красного цеха. Я опять займусь ремеслом. Изо дня в день, из долгого часа в час я буду готовить убийство. Я буду украдкой следить, буду жить смертью, и однажды сверкнет пьяная радость: свершилось, я победил. И так до виселицы, до гроба.

А люди будут хвалить, громко радоваться победе. Что мне их гнев, их жалкая радость?..

Молочно-белый туман опять обвеял весь город. Уныло торчат дымовые трубы, гудит на фабрике долгий гудок. Ползет холодная мгла. Сеет дождь.

23 сентября.

Христос сказал: "Не убий", и ученик Его Петр обнажил для убийства меч. Христос сказал: "Любите друг друга", и Иуда предал Его. Христос сказал: "Я пришел не судить, но спасти" и был осужден.

Две тысячи лет назад Он молился в кровавом поту, а ученики Его спали. Две тысячи лет назад народ одел его в багряницу: "возьми и распни Его". И Пилат сказал: "Царя ли вашего распну?" Но первосвященники отвечали: "Нет у нас царя кроме Кесаря".

И у нас нет царя кроме Кесаря. И теперь еще Петр обнажает меч, Анна судит с Каиафою, Иуда Симонов предает. И теперь еще распинают Христа.

Значит, Он - не лоза, мы - не ветви. Значит, слово Его - сосуд глиняный. Значит, Ваня не прав... Бедный, любящий Ваня... Он искал оправдания жизни. К чему оправдания?

Гунны прошли по полям, растоптали зеленые всходы.

Бледный конь ступил на траву - завяла трава. Люди слышали слово - и вот поругано Слово.

Ваня с верой писал: "Не мечом, а любовью спасется мир и любовью устроится". Но ведь и Ваня убил, "совершил тягчайший грех против людей и Бога". Если бы я думал, как он, я бы не мог убить. И, убив, не могу думать как он.

Вот Генрих. Для него нет загадок. Мир, как азбука, прост. На одной стороне рабы, на другой - владыки. Рабы восстают на владык. Хорошо, когда убивает раб. Дурно, когда убивают раба. Будет день, рабы победят. Тогда рай и благовесть на земле: все равны, все сыты и все свободны.

Я не верю в рай на земле, не верю в рай на небе. Я не хочу быть рабом, даже рабом свободным. Вся моя жизнь - борьба. Я не могу не бороться. Но во имя чего я борюсь, не знаю. Я так хочу. И я пью вино цельное.

24 сентября.

Я опять нанял комнату, живу в номерах, инженер Малиновский. Я живу, как хочу, без правил взыскательной конспирации. Мне теперь все равно: пусть полиция ищет. Пусть меня арестуют.

Вечер. Холодно. Над новой фабричной трубой обманчивый месяц. Лунный свет струится на крыше, сонно ложится тень. Город спит. Я не сплю.

Вот я думаю об Елене. Мне странно теперь, что я мог ее полюбить, мог убить во имя любви. Я хочу воскресить ее поцелуи. Память лжет: нет радости, нет восторга. Утомленно звучат слова, ласкают лениво руки. Как вечерний огонь, угасла любовь. Снова сумерки, скучная жизнь.

Я спрашиваю себя: зачем я убил? Чего я смертью добился? Да, я верил: можно убить. А теперь мне грустно: я убил не только его, убил и любовь. Так грустит печальная

осень: осыпается мертвый лист. Мертвый лист моих утраченных дней.

25 сентября.

Я взял сегодня случайно газету. Я прочел мелким шрифтом из Петербурга:

"Вчера вечером в гостиницу Гранд-Отель явилась полиция с предписанием задержать проживавшую там дворянку Петрову. В ответ на требование открыть за дверью раздался выстрел. Взломавшими дверь чинами полиции был на полу обнаружен еще не остывший труп самоубийцы. Производится следствие".

Под фамилией Петровой скрывалась Эрна.

26 сентября.

Я знаю, как это было. Ночью, под утро, к ней постучались. Постучались негромко. В комнате было темно и тихо. Она чутко спала и тотчас проснулась. Вот постучались опять, уже настойчивее и громче. Она быстро поправила косы и встала. Не зажигая огня, босиком подошла к большому столу, направо, у фортепьяно. Ощупью, так же бесшумно вынула из ящика револьвер. Я сам подарил его ей. Потом она начала одеваться, все еще ощупью, в темноте. Постучались в третий, в последний раз. Полуодетая она ушла в угол, к окну. Откинула темную занавеску. Увидела каменный двор, сырой и узкий. Вместо звезд тусклый фонарь внизу... Двери уже ломали. Кто-то мерно стучал топором. Она повернулась к дверям и сильным, гибким движением прижала револьвер к груди. К голому телу. У сердца, пониже соска. Потом она лежала навзничь в углу. На ковре лежал револьвер. И опять было темно и тихо.

А теперь, вот сейчас, она, как живая, стоит у моих две-

рей. Локоны сбились, голубые глаза потухли. Она дрожит хрупким телом и шепчет:

- Жорж, ты ведь приедешь... Жорж...

Я сегодня пойду по Москве. Горят кресты на церквах. Звонят уныло к вечерням. В улицах говор и шум. Все мне близко и чуждо. Вот решетка и крест. Здесь Ваня убил. Там, в переулке, внизу умер Федор. Здесь я встретил Елену... В парке плакала Эрна... Все прошло. Был огонь, теперь тает дым.

27 сентября.

Мне скучно жить. Однозвучно тянутся дни, недели, года. Сегодня как завтра и вчера как сегодня. Тот же молочный туман, те же серые будни. Та же любовь, та же смерть. Жизнь как тесная улица: дома старые, низкие, плоские крыши, фабричные трубы. Черный лес каменных труб.

Вот театр марионеток. Взвился занавес, мы на сцене. Бледный Пьерро полюбил Пьеррету. Он клянется в вечной любви. У Пьерреты жених. Хлопает игрушечный пистолет, льется кровь - красный клюквенный сок. Визжит за сценой шарманка. Занавес. Номер второй: охота на человека. Он - в шляпе с петушьим пером, адмирал швейцарского флота. Мы - в красных плащах и масках. С нами Ринальдо ди Ринальдини. Нас ловят карабинеры. Не могут поймать. Снова хлопает пистолет, визжит шарманка. Занавес. Номер третий. Вот Атос, Портос, Арамис. На золоченых камзолах брызги вина. В руках - картонные шпаги. Они пьют, целуют, поют, иногда убивают. Кто смелее Атоса? Сильнее Портоса? Лукавее Арамиса? Финал. Шарманка жужжит затейливый марш.

Браво. Раек и партер довольны. Актеры сделали свое дело. Их тащат за треуголки, за петушиные перья, швыряют в

ящик. Нитки спутались. Где адмирал, Ринальдо, влюбленный Пьерро, кто разберет? Покойной ночи. До завтра.

Сегодня на сцене я, Федор, Ваня, Генерал-Губернатор. Льется кровь. Завтра тащат меня. На сцене карабинеры. Льется кровь. Через неделю опять: адмирал, Пьеррета, Пьерро. И льется кровь - клюквенный сок.

И люди ищут здесь смысла? И я ищу звеньев цепи? И Ваня верует: Бог? И Генрих верит: свобода?.. Нет, конечно, мир проще. Вертится скучная карусель. Люди, как мошки, летят на огонь. В огне погибают. Да и не все ли равно?

Мне скучно. Дни опять побегут за днями. Завизжит за сценой шарманка, спасется бегством Пьерро. Приходите. Открыт балаган.

Помню, поздней осенью ночью я был на морском берегу. Сонно вздыхало море, лениво ползло на берег, лениво мыло песок. Был туман. В белесой, траурной мгле таяли грани. Волны сливались с небом, песок сливался с водой. Что-то влажное, водное обнимало меня. Я не знал, где конец, где начало, где море и где земля. Я дышал соленой влагой. Я слышал шорох воды. Ни звезды, ни просвета. Кругом прозрачная мгла.

Так и теперь. Нет черты, нет конца и начала. Водевиль или драма? Клюквенный сок или кровь? Балаган или жизнь? Я не знаю. Кто знает?

1 октября.

Я бежал из Москвы. Вчера вечером я пришел на вокзал, машинально сел в поезд. С лязгом гремят буфера, гнутся рессоры. Свистит паровоз. Торопливо в окне мелькают огни. Торопливо стучат колеса.

В Петербурге осенняя грязь. Хмурится утро. Волны в Неве как свинец. За Невой туманная тень, острый шпиц, крепость.

В три часа день потух, зажгли фонари. Ревет с моря ветер. Бурлит в граните Нева: наводнение.

Скучно. В Москве кресты, в Петербурге солдаты. Монастырь и казарма... Я жду ночи. Ночью мой час. Час забвения и мира.

3 октября.

Вчера на Невском я случайно встретил Андрея Петровича. Он обрадовался, глаза его улыбнулись. Он не подходит ко мне. Осторожный, он идет за мной следом. Я не хочу его видеть. Я не хочу говорить о делах. Я знаю его слова, благоразумные поучения. Я ускоряю шаги, ухожу в переулок. Он догоняет меня.

- Приехали, Жорж? Слава Богу.

И крепко жмет мою руку.

- Зайдемте в трактир.

Как всегда хрипит разбитый орган, снуют половые. Мне неприятен табачный дым, крепкий запах водки, еды, пива.

- Мы вас ждали. Слушайте, Жорж.

- Ну?

Он таинственно шепчет:

- Много работы... Слышали, Эрну взяли? Она застрелилась.

- Ну?

- Нужно поставить дело. Мы решили: министр юстиции.

Трясется седая бородка, по-стариковски мигают глаза. Он ждет моего ответа.

Пауза. Он опять говорит:

- Мы решили вам поручить. Дело трудное, в Петербурге. Но вы справитесь, Жорж.

Я слушаю его и не слышу. Кто-то чужой говорит чужие слова. Вот он зовет меня на террор, опять на убийство. Я не хочу убивать. Зачем?

И я говорю:

- Зачем?

- Что, Жорж, зачем?

- Зачем убивать?

Он не понял меня, наливает стакан холодной воды:

- Выпейте. Вы устали.

- Я не устал.

- Жорж... Что с вами?

Он с тревогой глядит на меня и ласково, как отец, гладит мне руку. А я уже знаю: я не с ним, не с Ваней, не с Эрной. Я ни с кем.

Я беру свою шляпу.

- Прощайте, Андрей Петрович.

- Жорж...

- Ну?

- Жорж, вы больны, отдохните.

Пауза. Потом я медленно говорю:

- Я не устал и здоров. Но ничего больше делать не буду. Прощайте.

На улице та же грязь, за Невой тот же шпиц. Серо, сыро и жутко.

4 октября.

Я понял: я не хочу больше жить. Мне скучны мои слова, мои мысли, мои желания. Мне скучны люди, их жизнь. Между ними и мною предел. Есть заветные рубежи. Мой рубеж - алый меч.

В детстве я видел солнце. Оно слепило меня, жгло лучистым сиянием. В детстве я знал любовь - материнскую ласку. Я невинно любил людей, радостно любил жизнь. Я не люблю теперь никого. Я не хочу и не умею любить. Проклят мир и опустел для меня в один час: все ложь и все суета.

5 октября.

Было желание, я был в терроре. Я не хочу террора теперь. Зачем? Для сцены? Для марионеток?

Я вспоминаю: "Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь". Я не люблю и не знаю Бога. Ваня знал. Знал ли он?

И еще. "Блаженны невидевшие и уверовавшие". Во что верить? Кому молиться?.. Я не хочу молитвы рабов... Пусть Христос зажег Словом свет. Мне не нужно тихого света. Пусть любовь спасет мир. Мне не нужно любви. Я один. Я уйду из скучного балагана. И отверзется на небе храм, я скажу и тогда: все суета и ложь.

Сегодня ясный, задумчивый день. Нева сверкает на солнце. Я люблю ее величавую гладь, лоно вод глубоких и тихих. В море гаснет печальный закат, горят багряные зори. Грустно плещет волна. Никнут ели. Пахнет смолой. Когда звезды зажгутся, упадет осенняя ночь, я скажу мое последнее слово: мой револьвер со мною.

В. Ропшин
(Б. В. Савинков)

Конь бледный

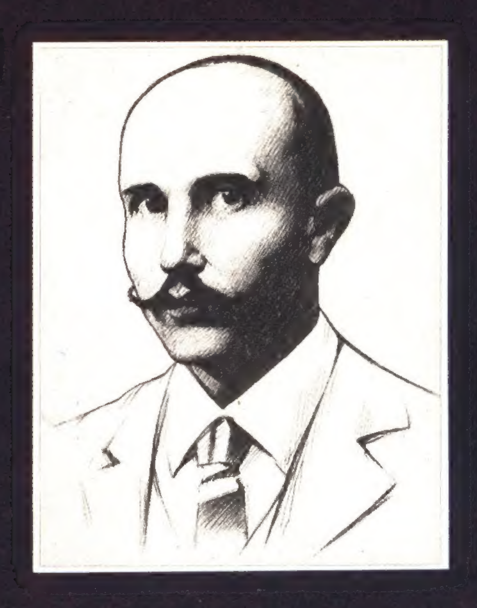
Редактор М. Вихрова
Художественный редактор Б. Баркас
Технический редактор А. Бурдыкин
Корректор И. Капитонова

Сдано в набор 2.12.90. Подписано в печать 16.01.91. Формат 60×84 1/16.
Бумага типографская № 2.
Гарнитура Таймс. Печать высокая.
Усл. печ. л. 5,88; уч.-изд. л. 6,13.
Тираж 200000. Цена 6 р.

Издание подготовлено к печати НПО «Вектор СП» по заказу Советского благотворительного фонда развития культуры Севера и малых народов «НОРД».
Москва, ул. Сафоновская, 17/43.

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии Прейскурантиздата. Зак. 125.
125438, Москва, Пакгаузное шоссе, 1.

6 руб



Борис Викторович Савинков
(В. Ропшин)
1879 - 1925

"Я, Борис Савинков, бывший член Боевой организации ПРС (Партия социал революционеров - *Ред.*)... участник убийства Плеве, вел. кн. Сергея Александровича, участник многих других террористических актов, человек, всю жизнь работавший только для народа, во имя его, обвиняюсь ныне рабоче-крестьянской властью в том, что шел против русских рабочих и крестьян с оружием в руках".

Из показаний на следствии в августе 1924 года

Приговорен к расстрелу. "Помилован" - на 10 лет тюрьмы. Погиб (убит?), бросившись в пролет тюремной лестницы в мае 1925 года.